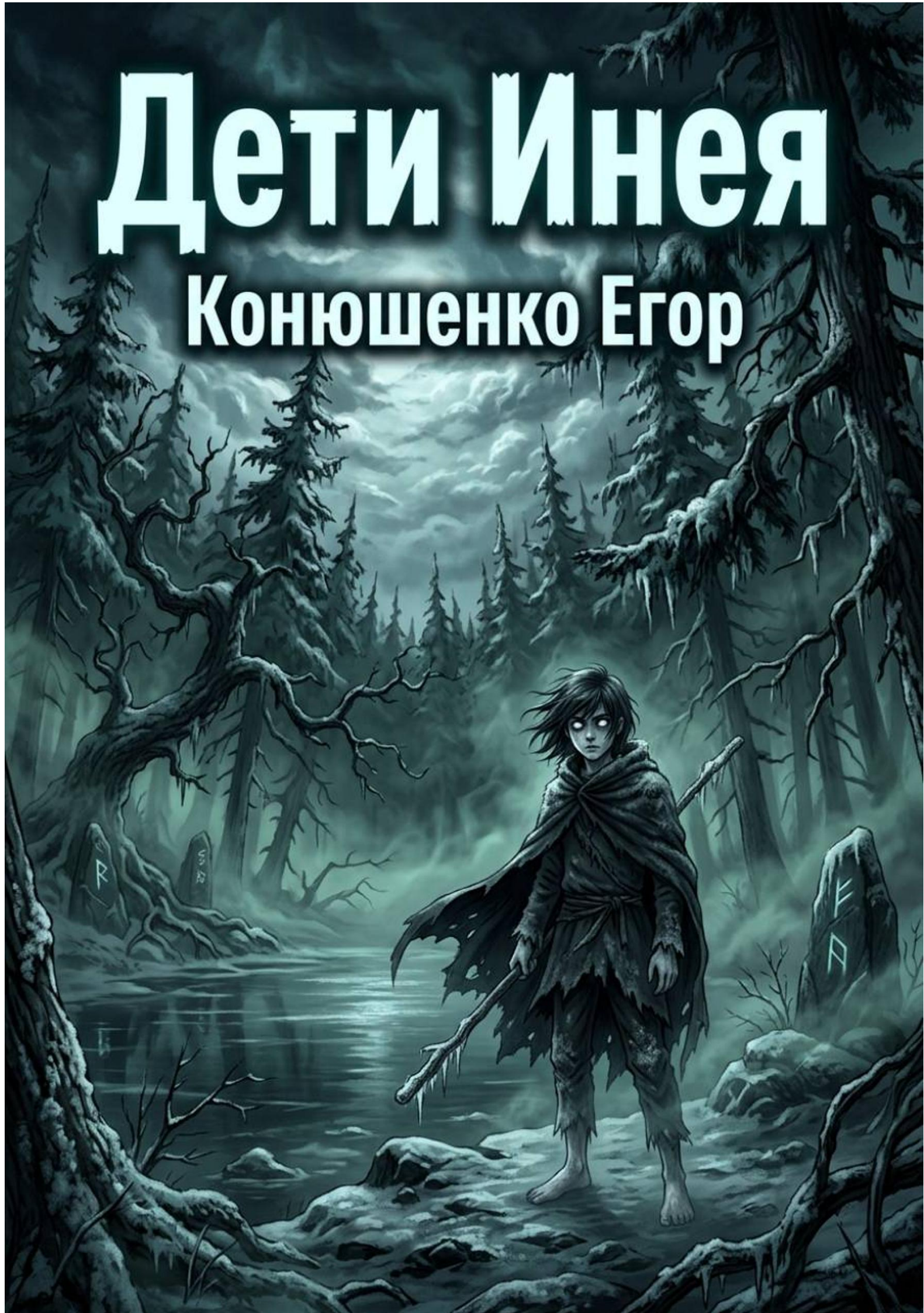


Дети Инея

Конюшенко Егор



Егор Конюшенко

Дети Инея

«Автор»

2026

Конюшенко Е.

Дети Инея / Е. Конюшенко — «Автор», 2026

Педиатр Анна Северова возвращается в родной Белореченск, но вместо тихой провинциальной жизни находит город, скованный странным холодом: дети исчезают и возвращаются «ледяными», их кости покрываются кристаллическим инеем, а на окнах, замках и стенах проступают спирали — метки древнего культа. Разбираясь в архивных записях, рентгеновских снимках и забытых легендах, Анна понимает, что за всем стоит Морок — дух вечного холода, пробуждённый договором, который требует сорок детских душ, чтобы обрести ледяное тело.

© Конюшенко Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Первая метка	5
Глава 2. Ледяные дети	18
Глава 3. Сосуд	34
Глава 4. Спираль	45
Глава 5. Сороковая строка	58
Глава 6. Сороковой ключ	67
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Егор Конюшенко Дети Инея

Глава 1. Первая метка



Автобус качнуло на выбоине, и Анна проснулась — резко, как просыпаются в поездах за минуту до своей станции, с чувством, будто проспала что-то важное. Виски ломило от долгого сидения у окна, в салоне пахло соляной, чьим-то кислым потом и синтетической обивкой сидений. Кроме неё, в автобусе осталось трое: старуха с авоськой, спящая с открытым ртом, и двое мужиков в промасленных робах на заднем сиденье — вахтовики, возвращавшиеся не то с лесоповала, не то с буровой. Они негромко переговаривались, и их голоса сливались в монотонный, убаюкивающий гул.

Анна потянулась, разминая затёкшую шею, и выглянула в окно. Пятнадцать лет — целая жизнь — минуло с тех пор, как она последний раз ехала этой дорогой. Тогда, девятнадцатилетней девчонкой, она уезжала в областной центр с одним чемоданом и ощущением, что весь мир принадлежит ей. Теперь возвращалась с двумя чемоданами, дипломом педиатра и чем-то тяжёлым, каменным, поселившимся между сердцем и желудком — тупой, ноющей тяжестью, у которой не было названия.

За окном проплывал привычный северный пейзаж: чахлый подлесок, болотистые прогалины, бурые от прошлогодней травы, и тёмная стена елового леса, подступавшая к самой дороге. Небо над кронами висело низкое, белёсое, какое-то выцветшее, будто его выстирали и забыли выполоскать до конца. Обычный ноябрьский день в этих краях — когда солнце если и показывается, то лишь мутным пятном за облаками.

На повороте автобус притормозил, и Анна увидела указатель.

«Белореченск» — тот самый, что стоял здесь, сколько она себя помнила. Ржавый металлический щит на бетонном столбе, покосившийся под одним и тем же углом все тридцать с лишним лет. Кто-то из местных ещё в её детстве подстрелил из ружья букву «ч», и с тех пор надпись читалась как «Белоре-енск» — нелепо, по-детски, словно у говорящего была расщелина губы. Она помнила эту деталь с той же отчётливостью, с какой помнила запах маминых пирогов и скрип третьей ступеньки в родительском доме.

Но что-то изменилось.

Анна подалась ближе к стеклу. Металлическая поверхность, всегда тускло-серая, теперь отливала странным, влажным блеском, будто покрытая тончайшей плёнкой льда. И тень под ним лежала неправильно — слишком чёрная, слишком густая для этого размытого дня. Она не соответствовала ни положению солнца, которого на небе не было видно, ни углу наклона самого указателя. Просто чёрное пятно на серой земле — и если смотреть на него слишком долго, начинало казаться, что оно дышит.

Автобус проехал мимо.

И сразу — в ту же секунду, едва покосившийся щит остался позади, — мир за окном переменился. Не постепенно, не плавно, как обычно меняется пейзаж за стеклом движущегося транспорта. Реальность дёрнулась, словно киноплёнка, соскочившая с зубчатого колеса проектора. Ели вдоль дороги, только что стоявшие прямо и обыденно, теперь сгибались к земле. Их стволы изгибались под неестественным, мучительным углом, будто невидимая рука давила на кроны сверху, принуждая кланяться. Кланяться автобусу. Или тем, кто в нём ехал.

Анна моргнула. Потом ещё раз — сильно, до цветных кругов перед глазами. Пейзаж не вернулся. Ели стояли согбёнными, скрюченными, их тёмно-зелёные, почти чёрные лапы волочились по земле, оставляя в грязи и прошлогодней хвое глубокие борозды.

— Что за чёрт?.. — прошептала она, но собственный голос прозвучал глухо, будто вата, отделявшая её от реальности, стала толще.

Она перевела взгляд на вахтовиков — те продолжали негромкий разговор, не глядя в окна. Старуха спала. Водитель впереди крутил руль, не оборачиваясь. Никто ничего не замечал.

А потом окна начали замерзать.

Сначала по нижнему краю стекла побежала тонкая, едва заметная изморозь — серебристая каёмка, какая появляется в сильный мороз. Но на улице не было мороза. Анна точно

помнила: когда она садилась в автобус, термометр на автовокзале показывал плюс четыре. А теперь по стеклу расплзались ледяные узоры — не снаружи, где холодный воздух мог бы конденсироваться на тёплой поверхности, а изнутри. Они ползли из салона, рождаясь в спёртом, нагретом человеческим дыханием воздухе, и за считанные секунды затягивали стекло плотной матовой коркой, сквозь которую внешний мир проступал лишь смутными пятнами.

Зеленоватый полумрак затопил салон.

Это был странный, больной свет — не тот, что бывает в лесу под плотным пологом крон, и не тот, что наполняет комнату, если задёрнуть шторы в солнечный день. Он был глубинным, подводным. Такой свет можно увидеть, нырнув в заросший ряской пруд и посмотрев вверх. Всё вокруг приобрело зеленовато-серый, трупный оттенок: лица пассажиров, обивка сидений, её собственные руки, лежащие на коленях.

Анна поднесла ладонь к стеклу. Оно обожгло холодом — не просто холодом, а жадным, голодным, высасывающим тепло. Она отдёрнула руку, и краем глаза ей почудилось, что с той стороны, сквозь ледяную корку, к стеклу прижалась чья-то ладонь. Маленькая. Детская.

Она зажмурилась.

Когда открыла глаза, ладони уже не было. Только изморозь, только зеленоватый сумрак, только отражение её собственного бледного, заострившегося лица с тёмными провалами глазниц — словно у покойницы.

Автобус ехал дальше. Где-то впереди, за пеленой инея и кривых елей, лежал Белореченск. Город, в котором она родилась. Город, в который она поклялась никогда не возвращаться. Город, чьё дыхание она сейчас чувствовала на своём лице — холодное, терпеливое, ждущее. Двигатель гудел ровно, успокаивающе. Никто, кроме неё, не замечал, что температура в салоне упала настолько, что изо рта должен бы вырываться пар. Но пара не было. Воздух оставался мёртво-неподвижным, и стужа, расплзавшаяся по салону, шла не снаружи, а словно просачивалась сквозь стены, вытягивая остатки тепла из живых тел.

Анна обхватила себя руками и принялась ждать, когда автобус наконец остановится. Она ещё не знала, что холод уже проник глубже, чем ей казалось, и что первая метка была поставлена в ту самую секунду, когда они пересекли невидимую границу и указатель «Белореченск» остался позади, ухмыляясь пробитой буквой «ч» в темноту.

Двигатель смолк, когда они въехали в город, — не сразу, а после нескольких секунд подрагивания и кашля, словно не мог поверить, что путь окончен. Наступившая тишина обрушилась на Анну, как толща воды на ныряльщика, ушедшего слишком глубоко. Эта глухота звенела в ушах тонким, комариным писком — так звенит безмолвие в звукоизолированной камере или в доме, откуда только что вынесли покойника.

Водитель открыл двери. Скрипнул несмазанный механизм, и в салон вполз воздух — колкий, пахнувший мокрой золой, хвоей и застоявшейся водой. Тем самым запахом, что бывает в подвалах, куда годами не ступала нога человека.

Анна поднялась, чувствуя, как затёкшие ноги отзываются тупой болью. Вахтовики уже вышли — она слышала их тяжёлые шаги по металлической подножке, слышала хруст гравия под ботинками, а потом их поглотила тишина. Старуха всё ещё спала, откинув голову и приоткрыв рот, и в этой неестественной неподвижности было что-то глубоко тревожное — будто она не спала вовсе, а пребывала в состоянии, среднем между сном и смертью.

Она взяла чемодан, перехватила ремень сумки и шагнула к выходу. Металлическая подножка загудела под ногами — низкий, глухой звук, показавшийся ей единственным настоящим за последние полчаса.

Подошва скользнула по тонкой, почти невидимой ледяной корке, покрывавшей потрескавшийся асфальт. Анна пошатнулась, инстинктивно выбросив вперёд свободную руку. Устояла. Выдохнула. И только тогда подняла глаза.

Автобусная станция Белореченска встретила её безлюдьем.

То же одноэтажное здание из серого силикатного кирпича с плоской крышей и облупившейся вывеской «АВТОСТАНЦИЯ» над центральным входом. Рядом — диспетчерская, пристроенная в девяностых, квадратная бетонная коробка с большим окном, выходящим на перрон. Когда-то за этим окном сидела тётя Клава с химической завивкой и голосом, напоминавшим скрежет гравия. Когда-то здесь пахло бензином, пирожками из станционного буфета и дешёвым табаком. Когда-то здесь кипела жизнь — пусть скудная, пусть провинциальная, но жизнь.

Теперь окно диспетчерской было выбито. Не разбито — именно выбито, словно кто-то или что-то выдавило стекло изнутри, разбросав осколки по асфальту, где они лежали до сих пор, поблёскивая в мутном дневном свете, точно рассыпанные бриллианты. За пустой рамой зияла чернота, густая и непроглядная, и Анна поймала себя на мысли, что не хочет знать, что находится внутри.

Она перевела взгляд выше, на фонарный столб — бетонный, в трещинах, с ржавыми потёками, стекавшими от плафона к земле. И увидела ворона.

Птица сидела на изогнутом кронштейне, вцепившись в металл когтями, и была совершенно неподвижна. Чёрные перья топорщились под неестественным углом, будто каждое из них замёрзло по отдельности, застыв в момент предсмертной агонии. Клюв приоткрыт, и в его глубине Анне почудилось что-то белое — не то изморозь, не то запёкшаяся слюна, не то нечто совсем иное, чему нет названия. Глаза ворона — две блестящие бусины — смотрели прямо на неё, и в них не было ни страха, ни любопытства, ни того наглого ума, что обычно светится во взгляде врановых. В них не было ничего. Только лёд.

Ворон был мёртв. Замёрз насмерть, сидя на фонарном столбе в ноябрьский день, когда температура воздуха — Анна бросила взгляд на термометр у входа в автостанцию, старый, ржавый, с треснувшим стеклом, — показывала плюс три.

Она прочитала дважды, просто чтобы убедиться. Красный столбик дрожал на отметке чуть выше нуля. На улице не было мороза. Не было и не должно было быть. Но ворон на столбе оставался окоченевшим и замороженным насквозь. И лёд под её ботинками не таял. И при каждом выдохе изо рта вырывалось облачко густого белого пара, оседавшее на ресницах микроскопическими каплями.

Анна стояла на площадке пустой станции, и безмолвие давило на барабанные перепонки. Ни шума машин, ни собачьего лая, ни голосов — хотя в городе жило больше двух тысяч человек. Не ощущалось даже ветра. Только эта глубокая, вязкая тишина, в которой каждый хруст ледяной корки под подошвой звучал как выстрел. И ещё — дыхание. Её собственное дыхание, слышное теперь слишком отчётливо: вдох-выдох, вдох-выдох, размеренное, но почему-то чужое, словно кто-то другой дышал поблизости, вторя её ритму с задержкой в долю секунды.

Она сделала шаг. Под ботинком треснул лёд — нет, не хрустнул. Хруст — это звук живого холода, звук ломающейся корки над живой водой. Здесь же лёд издавал сухой, стеклянный треск, похожий на тот, что издаёт разбиваемая лампочка. Мёртвый звук. Звук наледи, никогда не знавшей воды.

Ещё шаг. И вдруг — движение.

Она замерла, вскинув голову. Ворон на столбе оставался неподвижен, но Анна готова была поклясться, что долю секунды назад он сидел иначе. Голова птицы была повернута прямо, клюв указывал в сторону дороги — она отчётливо это запомнила. Теперь же клюв смотрел на неё. Под прямым углом. Будто замёрзшая тварь повернула голову ровно на девяносто градусов, следя за ней взглядом своих ледяных, безжизненных глаз.

Сердце пропустило удар — один, второй — и забилося молотом о рёбра. Она отступила на шаг, не сводя глаз с ворона, и упёрлась спиной в холодный борт автобуса. Тот всё ещё стоял здесь, с распахнутыми дверями, с водителем, возившимся с бумагами в кабине. Живой человек. Нормальный человек, который, кажется, вообще ничего не замечал.

— Эй! — окликнула она, и собственный голос прозвучал хрипло, надтреснуто.

Он поднял голову — круглое, небритое лицо, равнодушные глаза.

— Чего?

— Вы... — Анна хотела спросить про ворона, про лёд, про термометр, про тишину, которая не могла быть такой глубокой в городе, где живут люди. Но слова застряли в горле. Водитель смотрел на неё и ждал — спокойно, без тени любопытства или тревоги, — и в его глазах не отражалось ничего, кроме этой самой тишины.

— Ничего, — выдавила она. — Простите.

Он пожал плечами и вернулся к своим бумагам. Анна перевела дыхание, пытаясь унять дрожь в пальцах. Пар изо рта исчез. Но лёд под ногами всё ещё потрескивал.

Она развернулась и пошла к выходу со станции, стараясь не думать о том, что за спиной, на фонарном столбе, мёртвая птица медленно поворачивает голову, отслеживая её путь сквозь застывшие, ледяные глазницы. Она этого не видела. Но знала с той же абсолютной, беспощадной уверенностью, с какой человек знает, что за ним наблюдают из тёмного окна пустого дома.

Где-то вдалеке, за станцией, за серыми крышами, за чёрными согбенными елями, лежало озеро Инеж. И Анна вдруг поняла, что даже сквозь километры городских кварталов она чувствует его присутствие — холодное, влажное, пристальное. Будто озеро тоже смотрело на неё. Ждало. Помнило.

Она поправила сумку на плече и ускорила шаг. Скорее домой. Скорее в тепло. Скорее прочь от этой глухоты, похожей на затаённое дыхание перед броском.

Улицы Белореченска встретили её молчанием, которое не рассеивалось, а лишь сгущалось с каждым шагом, будто город был погружён не в воздух, а в иную, более плотную среду. Анна шла по тротуару, и звук её шагов — треск льда, шорох гравия, редкий чавкающий звук, когда подошва попадала в лужицу подтаявшей грязи, — казался единственным звуком во всей вселенной. Молчание здесь было не просто отсутствием шума; оно являлось присутствием чего-то иного, заполнявшего собой промежутки между домами, между деревьями, между ударами сердца.

Она миновала два квартала, прежде чем осознала, что именно не так. В обычном городе тишина слоиста: дальний гул машин, собачий лай, обрывок музыки, голоса играющих детей. Здесь же безмолвие оставалось монолитным, сплошным, как ледяная глыба. Оно поглощало звуки раньше, чем те успевали родиться. Даже эхо шагов не отражалось от стен домов — оно просто обрывалось, едва возникнув, будто звуковые волны вязли в вате, которой был наполнен воздух.

Дома, мимо которых она проходила, были теми же, что она помнила с детства: двухэтажные, из серого кирпича и потемневшего бруса, с резными наличниками, когда-то составлявшими гордость местных плотников, а теперь облупившимися и почерневшими, словно обгорели в невидимом пожаре. Но что-то в них изменилось — неуловимое. Взгляд зацепился за окно, и Анна остановилась.

В окне не было штор. Точнее, они висели, но плотно задёрнутые за каждым окном, без единой щели, без случайно отодвинутого уголка. Казалось, люди, жившие в этих домах, замуровали себя изнутри, отгородившись от улицы тканью, деревом и стеклом. И за этими шторами не горел свет. Ни в одном окне. Хотя день уже клонился к вечеру, и сумерки сгущались, подкрадываясь из-за крыш, как серая, промозглая вода.

Анна поёжилась и пошла дальше, поплотнее запахнув пальто. Стужа, которую она ощутила ещё на станции, не ослабевала; напротив, она проникала всё глубже, минуя одежду, минуя кожу, добираясь до чего-то более интимного — до мыслей, до воспоминаний, до того самого каменного комка между сердцем и желудком, который она возила с собой вот уже два года.

Центральная площадь открылась перед ней внезапно — слишком резким переходом от тесных улочек к открытому пространству, как прыжок с обрыва в ледяную воду. Площадь была пуста, и в самом её центре застыл старый фонтан.

Когда-то, в её детстве, это был действующий фонтан — гордость Белореченска, едва ли не единственное его украшение. Бетонная чаша метров пяти в диаметре, с облезлыми мозаичными рыбками на бортиках и бронзовой фигурой оленя в центре, из чьих рогов в летние месяцы били струи воды. Местная ребятня плескалась в чаше в жаркие дни, а матери сидели на скамейках вокруг, и воздух стоял ровный, успокаивающий гул падающей воды.

Теперь фонтан был мёртв. Но мёртв не так, как бывают мертвы отключённые фонтаны — с пожухлой листвой на дне сухой чаши и налётом пыли на бронзе. Нет, он был мёртв иначе, страшнее.

Вода в чаше замёрзла, вывернувшись изнутри острыми, длинными ледяными иглами, которые торчали во все стороны, словно кто-то гигантский с силой выдохнул в воду ледяное дыхание, и она замёрзла в момент всплеска, в долю секунды, когда капли взлетали в воздух. Иглы были разной длины — от нескольких сантиметров до полуметра, — и все они направлены не вверх, как ожидалось бы, а в стороны и вниз, к краям чаши, будто сам лёд пытался выбраться наружу, расползтись, захватить бетонные бортики и тротуарную плитку вокруг. От некоторых ответвлялись более тонкие капилляры инея, тянувшиеся к земле и вставшие в неё, как корни невиданного ледяного растения.

И олень. Бронзовый олень в центре больше не был бронзовым. Он стал белым — покрытым толстым слоем изморози, которая лежала на нём не как снег, а как вторая кожа, плотная, непрозрачная, повторяющая контуры тела, рогов, вытянутой морды. Из его открытого рта, откуда когда-то была вода, теперь вырывался — нет, не вырывался, а застыл, сделавшись твёрдым и острым, — ледяной язык, тянувшийся вниз, к поверхности чаши, и там сливавшийся с остальными иглами в единую, неразрывную структуру.

Анна стояла и смотрела. Она не могла отвести взгляд. В этом фонтане ощущалось что-то глубоко, до тошноты неправильное — не просто нарушение законов физики (хотя и оно тоже: плюс три на термометре, а лёд не тает), но нарушение какого-то более фундаментального закона бытия. Лёд не должен выглядеть так. Не должен расти изнутри наружу. Не должен напоминать крик.

И всё же он напоминал именно крик — беззвучный, застывший, пойманный в момент наивысшего отчаяния.

Она заставила себя отвести взгляд, оглядела площадь. И заметила людей.

Их было трое — нет, четверо. Местные жители, пересекавшие открытое пространство по диагонали, каждый по своей траектории, каждый сам по себе. Они шли быстро, почти бежали, хотя на них не было заметно спешки — не оглядывались, не смотрели на часы, не нервничали. Просто двигались так, как двигаются люди, которым нужно как можно скорее оказаться в помещении, за закрытой дверью, подальше от открытого пространства. И одеты они были не по сезону: пуховики, тёплые пальто, шапки, надвинутые до бровей, шарфы, обмотанные вокруг лиц так, что виднелись только глаза. А ведь на календаре ноябрь, и воздух, несмотря на всю эту стужу и лёд, формально не был морозным — так, промозглая осенняя сырость. Но эти люди кутались так, будто стоял январь.

Их глаза. Анна успела поймать взгляд одного из них — мужчины в сером пальто с поднятым воротником, — и этот взгляд скользнул по ней, не задержавшись, как вода по промасленной бумаге. В нём не было ни узнавания, ни любопытства, ни даже той настороженной подозрительности, с какой в маленьких городках обычно встречают чужаков. В нём не было ничего. Пустота. Та же, что и в глазах мёртвого ворона. И мужчина отвёл взгляд не потому, что потерял интерес, а потому что его интерес никогда и не возникал. Анна для него просто не существовала.

Она вдруг поняла, что все четверо не смотрели друг на друга. Их взгляды были направлены вниз, на асфальт, или вперёд, в ту точку, куда они направлялись, но никогда — на других людей. Они двигались в одном пространстве, но не вместе; как планеты в разных галактиках, разделённые пустотой, которая была больше, чем просто расстояние.

Затем они скрылись — кто в переулке, кто в подъезде, — и площадь снова опустела.

Анна перевела дыхание, чувствуя, как сердце колотится у горла. Ей хотелось пить. Хотелось сесть. Хотелось закурить, хотя она не курила уже пять лет. Что-то в этом городе было не так — нечто большее, чем просто запустение и осенняя хандра. Нечто, прятавшееся за задёрнутыми шторами, за ледяными иглами фонтана, за пустыми взглядами прохожих.

Она двинулась дальше, огибая площадь по краю, стараясь держаться поближе к домам, к их глухим, слепым окнам, — и вдруг остановилась.

Детская площадка.

Та находилась здесь же, чуть в стороне, в тени старых лип, чьи голые ветви сплетались над ней, как костлявые пальцы. Когда-то здесь были качели, горка и деревянная песочница, в которой Анна играла ребёнком — лепила куличи, закапывала «секретики» из фольги и цветных стёклышек. Она помнила, как взлетала на качелях высоко-высоко, туда, где ветер пел в ушах, а небо казалось бесконечным и добрым. Помнила смех, крики, топот маленьких ног, звон велосипедных звонков.

Теперь площадка была пуста.

Не просто пуста — заброшена. Качели висели неподвижно, их металлические цепи покрывал толстый слой ржавчины и — Анна подошла ближе, чтобы убедиться, — инея. Того же самого, что и на бронзовом олене. Горка покосилась, деревянные перила облезли и почернели, а на дне песочницы лежал не песок — серый, смерзшийся в комья, с торчащими пучками сухой травы, — а что-то похожее на мокрую золу.

И не было детей. Во всём этом городе, на всей этой площади, на всей этой улице не было ни одного ребёнка. Ни смеха, ни плача, ни крика, ни топота. Ни велосипеда, брошенного у скамейки. Ни забытой игрушки. Ни цветного мелка на асфальте. Ничего.

Анна стояла и смотрела на пустую площадку, и холод внутри неё — тот самый, что проник под одежду, под кожу, в мысли, — внезапно стал невыносимым. Потому что она вдруг поняла, очень ясно и очень просто, что уже видела эту пустоту раньше. Видела её во снах, мучивших её последние два года: снах, где она искала своего ребёнка в пустом городе, заходила в пустые дома, звала по имени, которое так и не успела дать, и никто не отзывался.

Она отвернулась от площадки и пошла прочь — быстро, почти так же быстро, как те люди на площади. Съёмная квартира была где-то впереди, в конце улицы Советской, в пятиэтажном доме с облупившимся фасадом и тёмным подъездом. Там должно быть тепло. Там должны быть стены, которые отгородят её от этой площади, от этого фонтана, от этих качелей. Там должны быть электричество, чай, одеяло — вещи, возвращающие реальность, напоминающие, что ты жив, что мир состоит из атомов и молекул, а не из ледяных игл и пустых взглядов.

Но когда она подошла к дому и взялась за ручку подъездной двери — металл обжёг пальцы знакомым уже голодным холодом, высасывающим тепло быстрее, чем тело успевало его вырабатывать. И Анна поняла, что в этом городе нет тепла. Нигде. Оно ушло отсюда давно, вытекло, как вода из пробитого сосуда, оставив после себя только эту сухую, звенящую стужу.

Она открыла дверь и шагнула в темноту подъезда. За её спиной на пустой площади ледяные иглы фонтана медленно, почти незаметно для глаза, удлиннились ещё на миллиметр. Город ждал. И он знал, что она здесь.

Квартира располагалась на третьем этаже, и, поднимаясь по лестнице, Анна чувствовала, как холод, поселившийся в подъезде, становится всё гуще, словно сам воздух состоял из микроскопических ледяных кристаллов, оседавших в горле при каждом вдохе. Лампочка на площадке второго этажа не горела; на третьем мерцала тусклая, умирающая лампа дневного света,

наполнявшая лестничную клетку болезненным зеленоватым свечением, в котором её лицо, отражённое в тёмном стекле двери, казалось лицом утопленницы.

Ключ, полученный по почте две недели назад — простой, советский, с пластмассовой головкой вишнёвого цвета, — повернулся в замке с неожиданной лёгкостью. Дверь открылась, и Анна шагнула внутрь, в темноту, пахнущую пылью, старыми вещами и чем-то сладковато-затхлым, как запах сухих цветов, забытых в вазе много лет назад.

Она нащарила выключатель на стене — круглый, ребристый, ещё довоенного образца, — и тусклый жёлтый свет залил прихожую. Квартира была именно такой, какой она её представляла: маленькая, но добротная, из тех, что строили в пятидесятых для приезжих специалистов. Узкий коридор вёл в комнату, кухню и совмещённый санузел. Под ногами — настоящий дубовый паркет, потемневший от времени и покрытый слоем пыли, при каждом шаге поднимавшейся в воздух крошечными танцующими частицами.

Анна вошла в комнату и замерла на пороге.

Это была капсула времени — музейная диорама советского быта, застывшая в янтаре десятилетий. Вдоль стены высокая деревянная кровать с никелированными шарами на спинках, застеленная бордовым плюшевым покрывалом с проплешинами. Рядом — трельяж с тремя зеркалами, в которых мутно, словно сквозь толщу воды, отражался свет одинокой лампочки под потолком. На подоконнике, застеленном выцветшей «Правдой» за тысяча девятьсот восемьдесят шестой год, выстроились горшки с искусственными розами, чьи пластмассовые лепестки покрывал такой толстый слой серой пыли, что они казались вылепленными из неё.

Но главным в комнате был сервант. Громоздкое тёмно-коричневое сооружение из полированного дерева занимало почти всю стену напротив окна. За стеклянными дверцами поблёскивал хрусталь: фужеры, салатницы, конфетницы, вазочки для варенья — целая армия предметов, которые никогда в жизни не использовались по назначению. Они стояли здесь десятилетиями, пережив хозяев, пережив страну, где были произведены, и теперь терпеливо ждали чего-то, поблёскивая гранями, как глаза множества мелких существ.

Над сервантом, на кружевной салфетке, пришпиленной кнопками к стене, висел портрет пожилой женщины в тяжёлой деревянной рамке. Женщина смотрела прямо в объектив — или прямо на Анну? — и её лицо было серьёзным, почти суровым, с плотно сжатыми губами и глубокими складками от носа к подбородку. Дальняя родственница. Та самая, что завещала квартиру. Анна попыталась вспомнить имя, но не смогла.

Она бросила сумку на кровать — пыль взметнулась облаком, заставив закашляться — и принялась осматриваться. Кружевные салфетки лежали повсюду: на спинке кресла, на телевизоре «Рекорд» с линзой перед экраном, на этажерке с книгами в потрёпанных переплётках. Всё было нетронутым, застывшим, мёртвым. Не заброшенным — именно нетронутым, словно хозяйка просто вышла на минутку и не вернулась, оставив после себя не только вещи, но и само время, загустевшее в углах, как старое варенье.

И тут она увидела пятно.

Оно находилось над дверным косяком, ведущим из комнаты в коридор, — такое тёмное, почти чёрное, что поначалу Анна приняла его за тень. Но тени не вели себя так: не концентрировались в одном месте, не имели чётких, хоть и размытых по краям, границ. Пятно было жирным, въевшимся в старую штукатурку, и напоминало копыт — ту, что оставляет пламя свечи, если держать её слишком близко к потолку. Но размер исключал такое объяснение: с человеческую голову, если не больше. И оно было старым. Очень старым. Анна подошла ближе, встав на цыпочки, и заметила, что краска вокруг пошла мелкими трещинами, расходившимися паутиной. А в самом центре штукатурка оказалась обугленной, словно к косяку прижимали что-то раскалённое.

Она отступила на шаг. Затем ещё на один. Сердце снова забило быстрее, и она почувствовала знакомый внутренний холодок — не физический, а тот, что рождается в глубине

сознания при встрече с вещью, которой здесь быть не должно. Пятно было неправильным. Не просто следом пожара или печной копоти. Оно выглядело намеренным. Словно метка. Словно его поставили специально, и оно ждало, когда его заметят.

Анна заставила себя отвернуться. «Старый дом, — мысленно проговорила она. — Старая проводка, старая печь, мало ли что здесь горело за полвека». Но голос в голове звучал неубедительно, фальшиво, и она поняла, что не верит самой себе.

Стужа в квартире становилась всё ощутимее. Она сняла перчатки, подышала на ладони — облачко пара окутало пальцы, но теплее не стало. Нужно было растопить печь.

На кухне, за старой газовой плитой с чугунными конфорками, обнаружилась небольшая кирпичная голландка с медной заслонкой и чугунной дверцей топки. Рядом, в плетёной корзине, лежали берёзовые поленья — сухие, аккуратно наколотые, с прилипшими кусочками бересты. Тут же стояли жестяной совок со щепой для растопки и коробок спичек с этикеткой «Белореченский ЛПХ».

Анна опустила на корточки, открыла дверцу. Из топки пахнуло старой золой и кирпичной пылью. Она набила нутро скомканной газетой — той самой «Правдой» с подоконника, — уложила сверху несколько щепок, затем полено поменьше. Чиркнула спичкой. Огонёк лизнул бумагу, и та занялась — сначала неохотно, потом всё быстрее, пожирая строчки о перевыполнении плана и социалистических обязательствах.

Щепки затрещали, и вскоре в топке уже плясал уверенный, жёлто-оранжевый огонь, лизавший бока берёзового полена. Анна почувствовала тепло — или ей показалось. Она протянула руки к открытой дверце, и ладони ощутили жар. Но когда попыталась приблизить лицо, тепло исчезло.

Она замерла. Протянула руку снова — ближе к огню. На расстоянии ладони жар чувствовался отчётливо, заставляя кровь быстрее бежать по венам. Но на расстоянии вытянутой руки — всего полуметра — воздух оставался мёртвым. Таким же ледяным, как и во всей квартире.

Это было неправильно. От пламени тепло расходится волнами, постепенно нагревая воздух вокруг. Здесь же существовала чёткая, почти осязаемая граница, за которой оно заканчивалось — словно кто-то провёл в воздухе невидимую черту и сказал: «Дальше нельзя». Анна отступила на шаг, ещё на один. В полутора метрах от печи воздух был ледяным. Она вернулась — на расстоянии вытянутой руки ладонь ощутила жар. Граница проходила ровно в полуметре от дверцы, и за ней не существовало никакого тепла.

Анна опустила на колени, глядя на пляшущий внутри огонь. Он горел ровно, спокойно, как самый обычный огонь. Дрова потрескивали, выстреливая крошечными искрами, и в этом звуке было что-то успокаивающее, домашнее. Но тепло не шло в комнату. Оно оставалось внутри своего полуметрового пузыря, как животное, отказывающееся покидать клетку. И от этого диссонанса — живой огонь, мёртвый холод — у Анны закружилась голова.

Она медленно поднялась, держась за край плиты, и случайно бросила взгляд на полку над печью — на старое зеркало в бронзовой оправе, висевшее над печью. И замерла.

Зеркало было старым, с пятнами чёрного амальгамного налёта по краям, но в центральной части ещё сохраняло отражающую способность. Оттуда на Анну смотрело её лицо, поставившее лет на десять. Нет, больше. Кожа была бледной — не просто бледной, а серой, как пепел, — туго обтягивавшей остро проступившие скулы. Глаза глубоко запали, окружённые тёмными кругами, уходившими к вискам, а губы потеряли цвет, сливаясь с окружающей бледностью. И морщины — тонкие, как паутина, — расходились от уголков глаз и губ, хотя ещё утром, в зеркале заднего вида, она не видела этих морщин.

Но хуже всего было выражение лица. Отражение смотрело с глубокой, неизбывной тоской — той, что Анна знала слишком хорошо, потому что видела её каждое утро последние два года. Только теперь, в этом мутном стекле, тоска усилилась, сгустилась, превратилась в бездонное, безмолвное отчаяние.

Она отдёргнулась. Отражение дёрнулось тоже, но движение показалось ей чуть запоздавшим. На долю секунды. Как то дыхание за спиной на станции — жившее с задержкой.

Анна попятилась, не сводя глаз с зеркала. Огонь в печи за её спиной продолжал гореть — она слышала его треск, — но в отражении комната за плечом была темна. Абсолютно, непроглядно темна. Словно печь не горела вовсе. Словно в зазеркальном мире царила иная реальность — без огня, без тепла, без света. Только холод. Только тьма. Только она — постаревшая, серая, с глазами, полными отчаяния, и с тёмным пятном над головой, в точности повторяющим пятно копоти над дверным косяком.

Она резко обернулась, чтобы проверить, что за спиной действительно горит огонь. Горел. Жёлтое, живое пламя плясало в топке, и дрова уютно потрескивали. Она снова посмотрела в зеркало. В отражении по-прежнему было темно. И её лицо оставалось лицом женщины, прожившей на десять лет дольше и потерявшей за эти годы всё, что можно потерять.

Анна протянула руку и, сама не зная зачем, коснулась поверхности зеркала. Стекло было ледяным. Не просто холодным — оно обожгло пальцы тем самым голодным холодом, который она чувствовала повсюду с момента пересечения границы города. На долю секунды ей почудилось, что отражение тоже подняло руку — но не чтобы коснуться в ответ, а чтобы схватить. Вцепиться. Втянуть внутрь.

Она отдёргнула ладонь. Кончики пальцев побелели, будто обмороженные. Она сунула их в рот, согревая дыханием, и тёплый воздух из лёгких показался обжигающе горячим по сравнению с холодом стекла.

В печи по-прежнему горел огонь. В полуметре от неё было тепло — живое, настоящее тепло горящих дров. Но комната оставалась ледяной, а зеркало показывало тьму и её собственное лицо, превратившееся в посмертную маску.

Она опустилась на корточки, прижавшись спиной к тёплым кирпичам печи, и обхватила колени руками, пытаясь унять дрожь. В этом городе всё было неправильно — от замёрзшего ворона до ледяного фонтана, от пустых глаз прохожих до зеркала, которое отказывалось отражать огонь. И она была здесь одна, в чужой квартире, наполненной чужими вещами, под фотографией чужой покойницы. Одна, если не считать пятна над косяком и того, что смотрело на неё из зеркала.

За окном начинало темнеть. И в сгущающихся сумерках ей почудилось, что тени в углах комнаты шевельнулись, будто принимаясь к новому человеку. А в зеркале над печью что-то продолжало смотреть из темноты — терпеливо, не мигая, ожидая момента, когда она снова поднимет глаза.

Огонь в печи всё ещё горел, но тепло его оставалось пленником невидимого круга, и Анна, просидев перед открытой дверцей около получаса, в конце концов заставила себя подняться. Нужно было чем-то занять руки, чем-то занять голову — чем угодно, что могло бы заглушить тихий, настойчивый голос, шептавший в глубине сознания, что с этой квартирой, с этим городом, с этим вечером что-то глубоко и непоправимо не так.

Она включила верхний свет — люстру с тремя рожками и пожелтевшими плафонами в форме тюльпанов, — и комната наполнилась жидким, невесёлым свечением, которое не столько разгоняло тени, сколько придавало им более чёткие очертания. Затем подтащила к кровати багаж: два чемодана, дорожную сумку и медицинский саквояж из потёртой коричневой кожи, доставшийся от отца. Отец тоже был врачом — терапевтом в Белореченской центральной районной больнице, — и саквояж помнил времена, когда его носили по вызовам, раскрывали на кухонных столах при свете керосиновой лампы, извлекая фонендоскоп, резиновый жгут и стеклянные ампулы с камфорой.

Анна опустилась на колени, расстегнула два латунных замка — они поддались с сухим щелчком — и откинула крышку. Внутри, в кожаных петлях и отделениях, лежали её инструменты: фонендоскоп, отоскоп, неврологический молоточек, упаковки стерильных шпателей,

коробка с ампулами, перетянутая резинкой, потрёпанный справочник по педиатрии под редакцией Баранова и ещё десяток мелочей, собранных за годы ординатуры и дежурств. Всё знакомое, понятное, рациональное. Медицина была единственной областью её жизни, где вещи вели себя так, как им положено: где воспаление сменялось выздоровлением, где температура подчинялась законам термодинамики, где лёд таял при плюсовой температуре, а тепло от огня распространялось по всей комнате.

Она начала вынимать инструменты, раскладывая их на покрывале. Пальцы, ещё хранившие холод стеклянной ручки подъездной двери, постепенно согревались от прикосновения к знакомым предметам. Стетоскоп. Тонометр. Глюкометр в пластиковом чехле. И вдруг — её пальцы наткнулись на что-то, чего она не ожидала. Что-то тонкое и жёсткое застряло в боковом кармашке саквояжа, который она никогда не использовала. Кармашек предназначался для бумаг — рецептурных бланков, направлений, — но Анна всегда носила их в отдельной папке и не помнила, чтобы клала сюда хоть что-нибудь.

Она потянула за край, и на свет показалась фотография.

Старая, выцветшая, с характерными белыми полосками по краям, какие оставляла фотобумага советского образца после долгих лет, проведённых в альбоме или между страницами книги. Анна поднесла снимок ближе, вглядываясь в блёклые, желтовато-коричневые тона, и сердце пропустило удар.

На фотографии была она сама. Вернее, не она теперешняя — тридцатичетырёхлетняя женщина с тенями усталости под глазами, — а она-ребёнок. Девочка лет девяти-десяти, в смешном вязаном берете, сдвинутом набок, и в тяжёлой овчинной шубейке, из которой торчали тонкие, как спички, ноги в шерстяных рейтузах и подшитых валенках. Она стояла на берегу озера Инеж, и за её спиной расстилалась ослепительно-белая гладь замёрзшей воды, уходившая к тёмной полоске дальнего берега под таким же белёсым, как сегодня, небом.

Вокруг стояли другие дети — человек десять или двенадцать, весь их класс или большая его часть. Они выстроились в два ряда, как для официальной групповой фотографии, и смотрели в объектив. Учительница — Анна смутно узнала её: Марья Петровна или Марья Ивановна, преподававшая природоведение, — возвышалась за их спинами, положив руки на плечи тех, кто стоял в первом ряду. Все были одеты тепло, по-зимнему: пухлые куртки, шапки-ушанки, варежки на резинках. Обычный снимок. Обычный школьный поход на озеро, каких в её детстве было много.

Но что-то было не так.

Анна поднесла снимок к самой лампе, вглядываясь в лица, и стужа, которая теперь никогда её не покидала, снова ожила в груди, запуская ледяные щупальца между рёбер. Глаза детей — у всех до единого — были неправильными. Не просто светлыми, не просто голубыми или серыми, а какими-то выцветшими, прозрачными, лишёнными пигмента. Зрачки, которые должны были быть чёрными точками в центре радужки, казались размытыми, словно кто-то стёр их ластиком или закрасил той же белёсой краской, какой было затянуто небо над озером. От этого лица выглядели не как лица живых людей, а как лица слепых — но не обычных слепых с их рассеянным выражением, а каких-то иных, глядящих не вовне, а внутрь, в пустоту позади их глаз.

Она нашла себя. Маленькая Аня Северова стояла в первом ряду, с краю, и её глаза были такими же молочно-белёсыми, как у остальных. Она не помнила этого. Не помнила, чтобы у неё когда-нибудь были такие глаза. Не помнила, чтобы носила этот берет. Не помнила этого дня на озере Инеж, хотя, казалось бы, яркий зимний день, групповой поход с одноклассниками — такое должно было запомниться. Но в памяти зиял провал. Огромная белая дыра, простиравшаяся на весь тот год, — год, который она всегда считала обычным, ничем не примечательным.

Она перевернула фотографию. На обороте, в самом низу, виднелась надпись простым карандашом — тем самым, каким подписывали снимки в советских ателье. Буквы полустёр-

тые, размытые то ли временем, то ли влагой, то ли чьими-то пальцами. Почерк детский, старательный, но неровный — так пишут ученики младших классов, ещё не привыкшие к письму. Строчки прыгали, буквы разного размера, а некоторые слова стёрты почти полностью, оставляя лишь слабые серые вмятины на фотобумаге.

«Перед первой зимой».

И всё. Больше ничего. Ни даты, ни имён, ни названия места. Только эти три слова, и от них веяло таким холодом, какого Анна не чувствовала даже у замёрзшего фонтана, даже у зеркала над каминной полкой, даже в том страшном полуметровом промежутке, где тепло от печи умирало, не успев родиться.

«Перед первой зимой». Что это значило? Перед первой зимой — чьей? Её? Этого города? Этого мира? И почему надпись сделана детской рукой, и кто её сделал, и почему фотография оказалась в её саквояже, в потайном кармашке, о существовании которого она даже не помнила?

Она снова перевернула снимок, вглядываясь в белёсые глаза детей, и вдруг её внимание привлекла одна деталь, не замеченная сразу. На заднем плане, где тёмная стена елей подступала к озеру, между деревьями стояла фигура. Высокая, тёмная, неясная — возможно, просто тень от ствола, возможно, кто-то из взрослых, не вошедших в кадр. Но тень была слишком длинной для того времени дня, какое указывали остальные тени на снегу, и слишком тонкой для человека. И она стояла не так, как стоят люди, ожидающие щелчка затвора, а так, как стоит тот, кто наблюдает — терпеливо, не шевелясь, боясь спугнуть.

Анна моргнула, поднесла снимок ближе. Тень была на месте. И ей вдруг показалось — лишь на секунду, краем сознания, — что у тени не было лица. Просто тёмное пятно на месте головы, в котором угадывались два белёсых, прозрачных, нечеловеческих глаза.

Она отдёргнула руку, словно фотография обожгла пальцы. Снимок скользнул на покрытие, лёг обратной стороной вверх, и три полустёртых слова усталились в потолок: «Перед первой зимой». В комнате стало тихо — так тихо, что Анна слышала не только треск дров в печи, но и что-то иное: далёкий, едва уловимый гул, похожий на дыхание огромного зверя, спящего где-то под землёй. Или подо льдом.

А потом за окном начался снег.

Это произошло внезапно — без предупреждения, без усиления ветра, без обычного потемнения неба перед снегопадом. В одну секунду за стеклом было темно и тихо, а в другую — мир снаружи исчез. Исчез полностью, поглощённый белой, плотной стеной падающего снега, который валил не хлопьями, не редкими снежинками, а сплошной непроницаемой пеленой, похожей на гигантский занавес, опущенный на город. Снежинки были густыми, тяжёлыми и падали вертикально — без малейшего отклонения, без признака ветра, — будто кто-то наверху опрокинул огромное ведро с белой краской, и она теперь медленно, неумолимо опускалась на землю.

Анна подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. Снег падал и падал, беззвучный, неостановимый, и в его густой пелене не было видно ни уличных фонарей, ни соседних домов, ни деревьев — ничего. Мир за окном схлопнулся до размеров этой комнаты, этой квартиры, этого окна, за которым не осталось ничего, кроме белого безмолвного хаоса. И в этом безмолвии ей почудился вдруг далёкий детский смех — тонкий, звенящий, — доносящийся не с улицы (на улице не могло быть детей, их вообще не было в этом городе), а откуда-то изнутри, из самой снежной завесы, словно те дети с фотографии всё ещё стояли на берегу и смеялись, глядя в объектив своими незрячими белёсыми глазами.

Она опустила взгляд на снимок, лежавший на кровати. Перевернула его лицевой стороной вверх. Дети на снимке улыбались — она только теперь это заметила, — но их улыбки были такими же пустыми, как их глаза. Не улыбки живых, радостных детей; улыбки, застывшие на лицах, как застывает вода, выворачиваясь ледяными иглами. И она вдруг поняла, что не пом-

нит их имён. Не помнит, как звали мальчика в шапке с помпоном, стоявшего рядом. Не помнит девочку с косичками, присевшую в первом ряду. Не помнит никого из них, хотя они были её одноклассниками, её друзьями, её — она вгляделась в снимок ещё пристальнее — её сверстниками, с которыми она прожила девять лет в одном городе, в одной школе, в одном времени.

Исчезли. Все они исчезли из её памяти, как исчез тот зимний день на озере Инеж, как исчез целый год её детства, оставив после себя только эту фотографию, эту полустёртую надпись и эту тень между деревьями, которая, Анна готова была поклясться, сейчас стояла чуть ближе к группе детей, чем ей показалось в первый раз.

Снег за окном валил, не прекращаясь, и его белая пелена казалась теперь не просто погодным явлением, а чем-то намеренным — стеной, которой город отгораживался от внешнего мира. Или наоборот — стеной, которой внешний мир отгораживался от Белореченска, запирая его внутри вместе с Анной, вместе с мёртвым вороном на столбе, вместе с ледяным фонтаном и пустыми глазами прохожих, вместе с этим пятном над дверным косяком и зеркалом, отказывавшимся отражать огонь.

Она отошла от окна, села на край кровати и долго смотрела на снимок, лежавший перед ней. Потом медленно, словно преодолевая сопротивление сгустившегося воздуха, взяла его и убрала обратно в потайной кармашек саквояжа. Застегнула замки. Поднялась. Подошла к печи и протянула руки к огню, но на расстоянии вытянутой руки тепло уже не чувствовалось, и её ладони оставались ледяными.

За окном падал снег. И в его белом шуме, в его безмолвной, густой пелене Анне слышалось биение чьего-то сердца — медленное, размеренное, древнее, как сам холод, как сам лёд, как сама зима, которая никогда не кончалась в этом городе. Она стояла и слушала это биение, и не знала ещё, что точно так же — медленно, размеренно, неотвратимо — отсчитываются последние дни до зимнего солнцестояния. До Ночи Великого Мороза. До того момента, когда сороковая жертва замкнёт круг и Морок, дремавший подо льдом озера Инеж, поднимется наконец в своё новое тело.

Но это знание уже было в ней — не в сознании, а где-то глубже, в костном мозге, в той части души, которая помнила «первую зиму». Помнила и молчала. Пока молчала.

Глава 2. Ледяные дети



Центральная районная больница Белореченска встретила Анну знакомым запахом — хлорка, медикаменты, подгоревшая манная каша из пищеблока и что-то ещё, трудноуловимое, чему она, сколько ни пыталась, не могла подобрать названия. Запах казённых учреждений, запах человеческого страдания, перебитого дешёвыми моющими средствами. Этот запах не изменился за пятнадцать лет. В областной больнице, где она проходила ординатуру, пахло

иначе — современными антисептиками, пластиком, озоном от работающей аппаратуры. Здесь же всё осталось по-прежнему, словно время в этом здании текло иначе или не текло вовсе.

Холл встретил её полумраком. Лампы дневного света под потолком горели через одну, и те, что работали, издавали тихое, комариное гудение, от которого у Анны сразу же заныло в висках. На стенах, выкрашенных бледно-зелёной масляной краской, темнели прямоугольники — следы от снятых стендов и плакатов. Пол, выложенный метлахской плиткой с характерным серо-голубым узором, был вытерт до матового блеска, но в углах, там, куда редко заглядывала швабра, скопилась серая пыль, смешанная с засохшей грязью, занесённой с улицы.

Она прошла через регистратуру — пустую, если не считать пожилой женщины в белом халате, которая сидела за стеклянной перегородкой и вязала что-то бесконечное, шерстяное, серое, не поднимая глаз, — и направилась к лестнице на второй этаж. Педиатрическое отделение располагалось там же, где и всегда: в левом крыле, сразу за отделением терапии. Она помнила это, потому что в детстве бывала здесь с отцом — сидела в ординаторской, рисовала на обороте бланков для анализов, пока он заполнял истории болезни, и слушала, как за стеной плачут больные дети.

Воспоминание было смутным, затянутым дымкой, как и всё её детство, прошедшее в этом городе. Она попыталась ухватить его за край — образ отца, склонившегося над бумагами, его большие, тёплые руки с аккуратно подстриженными ногтями, его голос, объясняющий что-то медсестре, — но воспоминание ускользало, таяло, как снежинка на ладони. Осталось только ощущение — смутное, тревожное ощущение, будто в этих коридорах с ней когда-то случилось что-то важное. Что-то, что она забыла намеренно.

Дверь в ординаторскую была приоткрыта. Анна толкнула её и вошла.

Комната оказалась маленькой, квадратной, с одним окном, выходящим во внутренний двор больницы, где между двумя старыми тополями были натянуты верёвки для белья, сейчас пустые и покрытые инеем. У окна стоял письменный стол, заваленный бумагами, пустыми чашками из-под чая и пластиковыми упаковками от шприцев. Вдоль стены выстроились три металлических шкафа для историй болезни. На подоконнике, в горшке из-под майонеза, чахло какое-то растение с пожухлыми, коричневыми по краям листьями. И посреди всего этого стояла Зоя.

Анна замерла на пороге.

Зоя Ильина. Зойка. Зойка-Зайка — так они звали её в школе, потому что у неё была привычка грызть морковку на переменах и смешно морщить нос, когда она смеялась. Лучшая подруга детства. Они не виделись пятнадцать лет, и все эти годы Анна представляла её такой, какой запомнила: круглолицей, румяной хохотушкой с толстой русой косой и ямочками на щеках, вечно готовой поделиться бутербродом, списать домашку или полезть через забор заброшенного детского сада, куда им ходить строго запрещалось.

Женщина, стоявшая перед ней, была незнакомкой.

Она похудела — страшно, болезненно похудела, словно из неё выкачали всё, что составляло её прежнюю плоть, и оставили только кости, туго обтянутые бледной, почти прозрачной кожей. Скулы выпирали острыми углами, ключицы торчали над вырезом медицинского халата, как два натянутых каната, а запястья, видневшиеся из-под закатанных рукавов, были такими тонкими, что, казалось, могли переломиться от неосторожного прикосновения. Тёмные круги под глазами были не просто кругами — это были глубокие, синевато-чёрные провалы, уходившие к вискам, придававшие лицу сходство с черепом. Волосы, когда-то густые и блестящие, теперь висели тусклыми, безжизненными прядями, небрежно стянутыми в хвост на затылке.

Но хуже всего были глаза. Глаза Зои двигались слишком быстро, слишком нервно — они перескакивали с предмета на предмет, с лица Анны на окно, с окна на дверь, нигде не задерживаясь дольше, чем на долю секунды. Так смотрят люди, которые ожидают опасности с

любой стороны. Так смотрят люди, которые не спали много дней. Так смотрят люди, которые видели нечто, чего не должны были видеть.

— Аня! — голос Зои прозвучал слишком громко, слишком звонко для этого маленького, прокуренного помещения. Он ударился о стены, о металлические шкафы, о стекло окна и рассыпался эхом, фальшивым и дребезжащим, как звук треснувшего колокольчика. — Господи, Анечка! Ты приехала!

Она бросилась к Анне, схватила её за плечи, стиснула — слишком сильно, с какой-то отчаянной, судорожной силой, не соответствовавшей её тщедушному телу, — и заглянула ей в лицо. От неё пахло дешёвым мылом, табаком и чем-то сладковатым, похожим на запах увядающих цветов. Анна заметила, что под ногтями у Зои траурная кайма грязи, а воротник халата протёрт до нитяной основы.

— Зоя, — выдохнула Анна, и её собственный голос прозвучал чужим, неуверенным. — Зоя... ты...

— Ой, да что я! — Зоя отмахнулась, отступила на шаг, и её лицо мгновенно переменялось: тревога, мелькнувшая в глазах при первом же взгляде на Анну, исчезла, сменившись широкой, почти неестественной улыбкой, которая не затронула провалов под глазами и оставила их такими же тёмными, такими же мёртвыми. — Ты на себя посмотри! Столичная штучка! Выглядишь на миллион! Ну, рассказывай, рассказывай, как доехала? Как тебе наш городишко? Совсем не изменился, да?

Она тараторила, не давая Анне вставить ни слова, и в этой скороговорке было что-то лихорадочное, что-то отчаянное, как будто Зоя пыталась словами заполнить пустоту, разверзшуюся между ними за пятнадцать лет молчания.

— Я... — начала Анна, но Зоя уже схватила её за руку и потащила к двери.

— Пойдём, пойдём! Я тебе всё покажу! У нас теперь, знаешь, какое оборудование? О! Закачаешься! Областной Минздрав расщедрился — новый рентгеновский аппарат поставили, японский, «Шимадзу», представляешь? И УЗИ-аппарат новый, и даже реанимационный бокс для недоношенных! Мы теперь почти как в областной, честное слово!

Она вела Анну по коридору, и её голос звучал громко — слишком громко для больничных стен, привыкших к тишине, нарушаемой лишь казёнными объявлениями по радио, стуком каблучков по линолеуму и приглушёнными стонами пациентов. Этот голос бился о стены, отражался от потолка, залетал в открытые двери палат и возвращался обратно, усиленный эхом, но при этом оставался каким-то пустым, полым, словно Зоя кричала в бочку. В нём не было настоящего тепла, настоящей радости. Только громкость. Только отчаянная, судорожная громкость, за которой пряталось что-то иное.

— Вот, смотри! — Зоя распахнула дверь в процедурный кабинет и обвела рукой помещение, как экскурсовод, представляющий посетителям музейную экспозицию. — Новые кушетки, новые штативы для капельниц, новые контейнеры для стерилизации! Видала? А в той палате — видишь, седьмая? — у нас теперь кварцевые лампы, представляешь? И обогреватели! Дизельные, между прочим! Потому что центральное отопление, сама знаешь, у нас тут — сам чёрт ногу сломит...

Анна слушала её и кивала, но взгляд её скользил мимо нового оборудования, мимо стерильных контейнеров и кварцевых ламп, выхватывая другие детали: трещины на потолке, расходящиеся от осветительных плафонов, как паутина; старые, ещё советские таблички на дверях с выцветшими надписями «Палата №5» и «Процедурный кабинет»; окна, покрытые тонкой, едва заметной плёнкой льда изнутри — той самой, что она видела в автобусе и в своей квартире, — и эта плёнка не таяла, несмотря на работающие обогреватели, о которых так горячо рассказывала Зоя.

— А это наш новый ЭКГ-аппарат! — продолжала Зоя, уже подводя её к другой двери. — Шесть каналов, цифровой, с компьютерным анализом! Представляешь? В областной больнице

— и то не везде такое есть! Нам его по федеральной программе выделили, главврач пять лет выбивал...

Она говорила и говорила, и её слова сливались в сплошной, монотонный поток, в котором отдельные фразы теряли смысл и превращались просто в шум. Анна вдруг поняла, что Зоя не просто показывает ей больницу. Она загораживается этими словами, как загораживаются щитом от стрел. Она боится тишины. Боится момента, когда слова закончатся и между ними повиснет молчание — то самое молчание, которое уже заполнило улицы Белореченска, и детскую площадку, и автобусную станцию, и пустые глаза прохожих. То молчание, в котором слышен только хруст льда и далёкий, беззвучный смех детей, чьи зрачки выплели до прозрачности.

— Зоя, — тихо сказала Анна, когда они остановились у окна в конце коридора. — Зоя, подожди.

Зоя замолчала на полуслове. Её улыбка дрогнула, но удержалась — застыла на лице, как примерзает к стеклу мокрая тряпка. Анна посмотрела на неё внимательно, впервые за всё время экскурсии поймав её взгляд и заставив его остановиться. Зрачки у Зои были сужены до размеров булавочной головки, а радужка — светло-голубая, почти прозрачная по краям, словно выцветшая.

— Ты здорова? — спросила Анна, и это был вопрос врача, а не подруги: прямой, спокойный, не допускающий уклончивых ответов. — Ты спишь вообще? Ты ешь?

Зоя моргнула. Раз. Другой. На третий раз её ресницы задрожали, а улыбка наконец треснула и начала осыпаться, как штукатурка со старой стены. На долю секунды Анна увидела за этой улыбкой что-то другое — не просто усталость, не просто недосып, а глубокое, неизбывное, почти животное отчаяние, которое выглянуло из глаз Зои, как зверь выглядывает из норы, и тут же спряталось обратно.

— Ой, да глупости! — Зоя снова замахала рукой, и её голос сорвался на фальцет. — Просто ночные дежурства, сама понимаешь! У нас тут вечно нехватка персонала, крутимся, как белки в колесе! Ты же знаешь, какая у нас педиатрия — то одно, то другое, дети вечно болеют, особенно сейчас, перед зимой...

Она осёклась. Что-то промелькнуло в её глазах при слове «зима» — что-то тёмное, быстрое, как тень птицы за окном, — и Анна вспомнила фотографию в своём саквояже. «Перед первой зимой». И эти белёсые, прозрачные глаза у всех детей на снимке. И ту тень между деревьями на берегу озера Инеж.

— Зоя, — сказала Анна, и её голос стал твёрже, — что здесь происходит?

На мгновение ей показалось, что Зоя сейчас ответит. Что она перестанет улыбаться, перестанет тараторить, перестанет притворяться — и скажет. Расскажет всё — про холод, про лёд, про пустые улицы, про детей, которых нет на детской площадке, про ворона, замёрзшего на столбе при плюсовой температуре, про зеркало, которое отказывается отражать огонь, про пятно копоты над дверным косяком. Про то, отчего она так похудела и почему не спит ночами. Про то, что случилось в этом городе за те пятнадцать лет, что Анна отсутствовала.

Но в коридоре хлопнула дверь, и из ординаторской выглянула какая-то санитарка с ведром и шваброй. Момент был упущен. Зоя встряхнулась, как собака, вылезаящая из воды, и её улыбка вернулась — такая же широкая, такая же фальшивая, такая же отчаянная.

— Пойдём! — воскликнула она, снова хватая Анну за руку. — Я тебе ещё детский бокс не показала! Там, знаешь, какие игрушки? Нам спонсоры из района целый ящик привезли — медведи, зайцы, куклы! Дети просто в восторге! Пойдём, пойдём, тебе понравится!

Она потащила Анну дальше по коридору, и её голос снова звенел, отражаясь от стен, слишком громкий, слишком бодрый, слишком живой для этого мёртвого здания. И, слушая его, Анна вдруг поняла, что Зоя не просто устала. Не просто не спала несколько недель. Зоя была в ужасе. В таком глубоком, всепоглощающем ужасе, который уже перестал быть эмоцией

и превратился в постоянное физическое состояние — такое же привычное, как холод, как лёд, как эта дурацкая изморозь на стёклах, которая не таяла ни при какой температуре.

И ещё она поняла, что Зоя знает. Знает гораздо больше, чем говорит. И молчит не потому, что не хочет рассказать, а потому что боится — боится так, как боятся только матери, чьим детям угрожает опасность. Матери, которые готовы на всё, чтобы защитить их, даже если для этого нужно притворяться, что всё в порядке, даже если для этого нужно улыбаться и тараторить без умолку, заглушая собственные мысли.

В конце коридора, перед дверью в детский бокс, висела доска объявлений, на которой среди прочих бумаг был пришпилен список — отпечатанный на принтере, но уже пожелтевший по краям. Анна бросила на него беглый взгляд и заметила, что некоторые фамилии в списке были вычеркнуты. Не замазаны, а именно вычеркнуты — жирной, чёрной линией, проведённой с такой силой, что бумага в этих местах была протёрта почти до дыры.

— Что это? — спросила она, но Зоя уже распахнула дверь в бокс, и её голос загрохотал под сводами палаты, рассказывая о новых кроватках с подогревом, о стерильных пелёнках, о том, какие замечательные врачи теперь работают в отделении, какие внимательные, какие квалифицированные. И ни одно слово из этого потока не отвечало на вопрос Анны. Ни одно слово не было правдой.

За окном больницы, во дворе, между двумя старыми тополями с верёвками для белья, снова начал падать снег. Тихо, беззвучно, без единого порыва ветра. Он опускался на пустые верёвки, на пожухлую траву, на ржавый остов старой машины, забытой кем-то на больничной парковке. И вместе с ним в коридоры больницы вползал холод — тот самый, голодный холод, который уже поселился в квартире Анны, на автобусной станции, на центральной площади, в пустых глазницах мёртвого ворона. Он вползал тихо, незаметно, прячась в тенях, и слушал. Слушал голос Зои — громкий, бодрый, отчаянный голос, который пытался заглушить тишину, но не мог, потому что тишина в Белореченске была сильнее любого крика.

Процедурная находилась в конце коридора, за поворотом, куда почти не долетал шум из ординаторской, и когда Зоя толкнула дверь, пропуская Анну вперёд, тишина, царившая в этом помещении, показалась ей почти осязаемой — плотной, как ватное одеяло. Комната была вытянутой, с единственным окном, забранным решёткой, и стенами, выкрашенными всё той же вездесущей бледно-зелёной краской, которая в свете люминесцентной лампы приобретала оттенок разложившейся плоти. Вдоль стен стояли стеклянные шкафы, заполненные медикаментами: ампулы с глюкозой, упаковки с физраствором, картонные коробки с одноразовыми шприцами, металлические биксы со стерильным материалом. Посередине, под лампой, прикреплённой к потолку на длинном штативе, стояла кушетка, застеленная белой простынёй, и рядом с ней — металлический столик на колёсиках с инструментами, разложенными ровными рядами: зажимы, пинцеты, несколько стеклянных банок с ватой, пропитанной раствором бриллиантового зелёного.

Запах здесь был другим — более резким, медицинским, с примесью спирта и карболовой кислоты. Но под ним, под этим привычным больничным запахом, Анна уловила что-то ещё: тонкий, едва заметный аромат, напоминающий запах полыни, которую когда-то, в детстве, заваривала её бабушка, когда у Анны болел живот. Горький, сухой, травяной — и совершенно неуместный в процедурной районной больницы.

Зоя вошла следом и плотно закрыла дверь. Анна услышала, как щёлкнула задвижка — этот звук был тихим, почти случайным, но в наступившей тишине он прозвучал как выстрел. Она обернулась, и её взгляд встретился со взглядом Зои.

Впервые за всё утро та замолчала. По-настоящему замолчала. Её лицо, только что оживлённое и почти весёлое, внезапно осунулось, словно мышцы под кожей разом утратили тонус. Улыбка исчезла, и вместе с ней исчезла та лихорадочная, неестественная бодрость, которая двигала Зоей последние полчаса. Теперь перед Анной стояла измождённая, измученная жен-

щина с серым лицом и чёрными провалами глаз, в которых плескался тот самый ужас, что Анна заметила ещё в ординаторской — но теперь он вырвался наружу, заполнив собой всё пространство между ними.

Зоя стояла, прижавшись спиной к двери, и смотрела не на Анну — сквозь неё. Её губы шевелились, но звука не было. Она молчала, и в этом молчании было что-то непоправимое, как в тишине, наступающей после того, как перестаёт биться сердце.

— Зоя? — позвала Анна, и её собственный голос прозвучал глухо, словно стены процедурной были обиты войлоком.

Зоя вздрогнула, моргнула, и на мгновение в её глазах промелькнуло что-то, похожее на узнавание. Затем она медленно, очень медленно перевела взгляд на столик с инструментами, на кушетку, на окно с решёткой. Её рот открылся, и она произнесла — даже не произнесла, а выдохнула, словно слова эти были слишком тяжёлыми, чтобы выговаривать их вслух:

— Они вернулись. Ледяные дети.

Фраза повисла в воздухе, и вместе с ней в комнате стало холоднее — заметно холоднее, на несколько градусов, будто кто-то открыл невидимую дверь в морозильную камеру. Анна почувствовала, как волосы на её руках поднимаются дыбом, как кожа покрывается мурашками, как холод проникает сквозь ткань халата, сквозь одежду, сквозь самую плоть, добираясь до того каменного комка, что поселился в её груди два года назад.

— Что? — переспросила она, и её голос дрогнул. — Зоя, что ты сказала?

Зоя моргнула. Её лицо исказилось — сначала выражением паники, чистой и незамутнённой, а затем, почти мгновенно, чем-то иным: ужасом от того, что она только что произнесла. Она прикусила губу — сильно, до крови, Анна увидела, как на нижней губе выступила алая капля, — и отшатнулась от двери, будто та обожгла её.

— Ничего! — Голос Зои снова зазвенел, но теперь этот звон был не бодрым, а истерическим, надтреснутым. — Я ничего не говорила! Тебе показалось! Я ничего... ничего такого...

Она замахала руками, отступая к стеллажу с медикаментами, и её движения были резкими, дёргаными, как у сломанной куклы. Анна шагнула к ней, но Зоя выставила перед собой ладонь, заставляя её остановиться.

— Не надо, — выдохнула она. — Не спрашивай. Просто... просто забудь. Это всё местные суеверия. Бабы сплетни. Глупости, поняла? Глупости!

Анна смотрела на неё и видела, как дрожат её пальцы, как бьётся жилка на виске, как бегают глаза — от окна к двери, от двери к потолку, нигде не останавливаясь. И она знала, с той же абсолютной уверенностью, с какой знала, что её отражение в зеркале над каминной полкой выглядит на десять лет старше, что Зоя лжёт. Не просто недоговаривает — лжёт, отчаянно, судорожно, боясь не только Анны, но и самой себя.

— Зоя, — сказала она, стараясь, чтобы её голос звучал спокойно, — я врач. Я здесь работаю. Если есть что-то, что я должна знать...

— Ты ничего не должна! — перебила Зоя, и её голос сорвался на крик. — Ты ничего не должна знать, слышишь? Всё нормально! Всё в порядке! Вот, смотри!

Она метнулась к стене, где на пробковой доске рядом со стеклянным шкафом висело расписание процедур на текущую неделю. Это был лист плотной бумаги формата А3, расчерченный от руки на графы и строки: фамилии пациентов, номера палат, время процедур, названия препаратов, дозировки. Почерк был медсестринский — мелкий, аккуратный, с характерными завитками на буквах «р» и «д». Зоя ткнула пальцем в последнюю графу, озаглавленную «Особые отметки», и замерла.

— Вот, — повторила она, уже тише. — Видишь? Ничего особенного. Обычное расписание. Обычные процедуры. Всё как всегда.

Анна подошла ближе, вглядываясь в лист. В графе «Особые отметки» напротив большинства фамилий стоял прочерк — длинная синяя черта, проведённая шариковой ручкой. Но

у шести пациентов прочерка не было. Вместо него в клеточке стоял плюс — жирный, нарисованный с нажимом, оставлявшим на бумаге глубокую борозду. Плюс. Просто плюс. И больше ничего.

Шесть имён. Шесть плюсов. Анна прочитала их: Бойко Е., 12 лет. Герасимова В., 9 лет. Ковальчук И., 7 лет. Леденцов Т., 9 лет. Павлюченко С., 11 лет. Савченко М., 8 лет. Детские имена, детские возрасты, детские палаты — все из педиатрического отделения. И напротив каждого — этот странный, ничем не объяснённый плюс в графе, которая, по идее, должна была содержать информацию об аллергических реакциях, непереносимости препаратов или особых указаниях лечащего врача.

— Что это значит? — спросила Анна, поворачиваясь к Зое. — Что означают эти плюсы?

Зоя не ответила. Она стояла, вцепившись пальцами в край металлического стеллажа, и смотрела на расписание с выражением, которое Анна не могла расшифровать. Страх? Да. Но ещё что-то — что-то похожее на горе, на скорбь, на ту безысходную, чёрную тоску, которую она видела в зеркале над каминной полкой.

— Ничего они не означают, — сказала Зоя наконец, и её голос был мёртвым, лишённым интонаций. — Просто отметки. Статистика. Для отчётности.

— Какая статистика? Зоя, посмотри на меня. Что значит «ледяные дети»? Почему ты...

— Хватит!

Зоя резко развернулась, и в её глазах снова вспыхнул тот лихорадочный, отчаянный огонь, который Анна заметила ещё в ординаторской. Она схватила Анну за плечи, и её пальцы впились в них с неожиданной силой — тонкие, костлявые пальцы, напоминавшие когти хищной птицы.

— Слушай меня, — проговорила она, понизив голос до шёпота, и от этого шёпота у Анны по спине пополз холодок. — Ты хороший человек. Ты хороший врач. Но ты здесь новенькая. Ты ничего не знаешь. И если хочешь остаться в порядке — остаться живой и здоровой, — ты не будешь задавать вопросы. Ты поняла? Ты будешь делать свою работу и молчать. Как все мы. Как все.

Она отпустила плечи Анны и отступила на шаг, тяжело дыша. Её лицо было бледным, почти белым, и на этом белом лице капля крови на прокушенной губе выделялась особенно ярко, особенно страшно.

— Зоя...

— Хватит. — Зоя вытерла губу тыльной стороной ладони и через силу улыбнулась — улыбкой, которая была страшнее любого крика. — Давай закончим экскурсию. Тебе ещё с главврачом знакомиться, помнишь? И журнал передать. Бумажная работа, чтоб её...

Она уже отпирала дверь, уже бралась за ручку, и её голос снова становился громким, бодрым, почти весёлым — настолько, что это причиняло боль. Анна стояла у расписания, не в силах отвести взгляд от шести плюсов, и думала о том, что сказала Зоя. «Ледяные дети». Это словосочетание вертелось у неё в голове, как заезженная пластинка, и чем дольше она думала о нём, тем страшнее оно ей казалось. Ледяные дети. Дети, чьи глаза выцвели до прозрачности на старой фотографии. Дети, чьи имена теперь стояли в расписании с жирными плюсами в графе особых отметок. Дети, которые исчезали с детских площадок, из школьных классов, из этого города — один за другим, от одного зимнего солнцестояния до другого.

— Идём, — позвала Зоя уже из коридора, и её голос эхом отразился от пустых стен. — Чего ты там застряла? Главврач ждать не любит!

Анна в последний раз взглянула на расписание. Шесть имён. Шесть плюсов. Она запомнила их все — от первого до последнего, — и, выходя из процедурной, чувствовала, как холод, поселившийся в этом городе, сжимает её сердце ледяной рукой. За дверью, в коридоре, Зоя уже снова улыбалась и что-то рассказывала о процедурах дезинфекции, о санэпидемиологических нормах, о том, какие замечательные врачи работают в их отделении. А где-то в глубине

больницы, в палате под номером семь или девять, или одиннадцать, лежали шестеро детей с плюсами в особых отметках. И Анна ещё не знала, что один из них — Тимофей Леденцов, девятилетний мальчик, чьё имя стояло в списке предпоследним, — уже вторую неделю не чувствует тепла, и его кости, если бы кто-то сделал рентген, оказались бы покрыты тонким слоем кристаллического инея, не тающего ни при какой температуре.

Но она это почувствовала — тем самым врачом, тем самым чутьём, которое не имело ничего общего с медициной и всем — с древним, первобытным страхом, жившим в человеческой душе с тех пор, как первый человек развёл первый костёр, чтобы отогнать холод. И она знала, что это только начало. Знала с того самого момента, как автобус пересёк невидимую границу и указатель «Белореченск» остался позади. Знала — и ничего не могла изменить. Пока не могла.

Сестринская располагалась в торце коридора, рядом с процедурной, и представляла собой крошечную комнатку без окон, освещённую всё той же умирающей лампой дневного света, которая наполняла пространство болезненным, зеленоватым свечением. Здесь пахло застоявшимся чаем, дешёвым стиральным порошком от халатов, висевших на крючках вдоль стены, и слабым, едва уловимым запахом валерьянки — казённым, горьковатым, успокаивающим. У одной стены стоял старый диван с продавленными пружинами, накрытый клетчатым пледом, у другой — маленький столик с электрическим чайником, двумя кружками и початой пачкой галетного печенья. Над столиком висел отрывной календарь, застывший на позавчерашнем числе.

Зоя вошла первой, всё ещё улыбаясь, всё ещё пытаясь удержать на лице маску бодрости, которая трещала по швам. Она включила чайник, достала две кружки — одну с надписью «Лучшей медсестре», другую с выцветшим цветочным узором, — и бросила в каждую по пакетiku чая. Движения её были резкими, нервными; пальцы дрожали, и когда она потянулась за сахаром, пластиковая банка выскользнула из рук и с грохотом покатила по полу, рассыпая белые кристаллы по линолеуму.

— Чёрт, — выдохнула Зоя, опускаясь на корточки и собирая сахар. — Чёрт, чёрт, чёрт.

Анна присела рядом, помогая ей, и их пальцы на мгновение соприкоснулись. Кожа Зои была ледяной — не просто прохладной, а именно ледяной, как у человека, который только что зашёл с мороза. Но Зоя не выходила на улицу. Она находилась в больнице с самого утра, и в сестринской, несмотря на общий холод здания, было относительно тепло — настолько, насколько это вообще было возможно в Белореченске.

— Всё нормально, — сказала Анна. — Это просто сахар.

— Да, — Зоя нервно рассмеялась. — Просто сахар. Просто чай. Просто ещё один день в раю.

Она поднялась, отряхнула ладони и села на диван, поджав под себя ноги — совсем как в детстве, когда они сидели у неё дома, пили какао и рассказывали друг другу страшные истории про чёрную руку и гроб на колёсиках. Тогда эти истории были просто игрой, способом пощекотать нервы перед сном. Теперь страшная история была настоящей, и она происходила здесь, за стенами этой комнаты, в этом городе, в этой больнице.

Чайник закипел и отключился с негромким щелчком. Зоя разлила кипяток по кружкам, и Анна заметила, что её рука дрожит, а вода проливается на столик, образуя лужицу, в которой отражался зеленоватый свет лампы. Она ничего не сказала.

— Ты хотела знать, — произнесла Зоя, не поднимая глаз. — Ты хотела знать, что здесь происходит.

Она протянула Анне кружку с цветочным узором и снова села на диван, обхватив ладонями свою — «Лучшей медсестре», — словно пыталась согреть руки о горячий фаянс. Анна взяла стул, стоявший у стены, и села напротив, ожидая. Она знала, что сейчас нельзя торопить,

нельзя давить — Зоя и без того балансировала на грани, и любое неосторожное слово могло столкнуть её в молчание.

— Пять лет, — сказала Зоя, и её голос звучал глухо, монотонно, как у человека, читающего доклад перед незнакомой аудиторией. — Всё началось пять лет назад. Почти день в день.

Она замолчала, глядя в свою кружку, где пакетик чая окрашивал воду в мутно-коричневый цвет. Анна ждала. Тишина в сестринской была плотной, как та, что царила на улицах города, но теперь в ней появился новый звук — тихое, ритмичное постукивание. Это Зоя крошила печенье.

Она взяла галету из пачки, лежавшей на столике, и её пальцы начали механически, без участия сознания, ломать её на мелкие кусочки. Хруст сухого печенья был единственным звуком в комнате, не считая гудения лампы под потолком.

— Первым был Саша Кравченко, — продолжила Зоя. — Восемь лет. Жил с бабушкой на окраине, у леса. Пропал в ноябре. Искали всей деревней — полиция, волонтёры, охотники с собаками. Три дня искали. Нашли на берегу озера.

— Замёрзшим? — спросила Анна, вспомнив ворона на фонарном столбе.

— Нет. — Зоя покачала головой, и её пальцы продолжали крошить печенье, крошка за крошкой, осколок за осколком. — В том-то и дело, что нет. Он сидел на поваленном дереве и смотрел на лёд. Одет был легко — курточка демисезонная, шапки нет, варежек нет. А на улице минус десять. Но он не замёрз. Даже не простудился. Просто сидел и смотрел.

Она отхлебнула чай, и Анна увидела, как дёрнулся её кадык при глотке.

— Его привезли к нам, в педиатрию. Я дежурила в ту ночь. Помню, как он смотрел. — Зоя подняла глаза, и в них отразился страх, старый, как само это воспоминание. — Он не смотрел на меня. Он смотрел сквозь. Как будто я была стеклом. Как будто я не существовала. Я говорила с ним, тормошила его, щипала за руку — ничего. Он не реагировал. Не отвечал. Не моргал, пока я сама не закрою ему веки рукой.

Она замолчала и опустила взгляд на столик, где перед ней уже выросла горка крошек. Анна тоже посмотрела на них — и замерла. Крошки, которые Зоя бессознательно высыпала из пальцев, ложились не как попало. Они складывались в чёткий, симметричный узор с шестью лучами, расходящимися от центра. Идеальная снежинка, выложенная из мельчайших частиц печенья на пластиковой поверхности столика.

Зоя, казалось, не замечала этого. Она продолжала говорить, и её голос становился всё тише, всё глуше.

— Таких детей было много. За пять лет — тридцать девять случаев. Я считала. Я записывала. — Она горько усмехнулась. — У меня целая тетрадка дома. Тридцать девять детей. Все — из Белореченска или окрестных деревень. Все — в возрасте от шести до двенадцати лет. Все — пропадали без следа, а потом находились. Все — с одинаковыми симптомами.

— Какими? — спросила Анна, хотя уже знала ответ. Она вспомнила расписание процедур, жирные плюсы в графе особых отметок, шестерых детей, которые сейчас лежали в палатах этого отделения.

— Отстранённость. Эмоциональная тупость. Отсутствие реакции на внешние раздражители. — Зоя перечисляла симптомы, как зачитывала историю болезни, и её голос приобрёл профессиональные, почти механические интонации. — Они не чувствуют боли. Не реагируют на холод. Не узнают родителей. Не разговаривают. Просто сидят или лежат и смотрят в одну точку. Иногда — сутками. Иногда — неделями.

Она снова замолчала. Её пальцы продолжали крошить печенье, хотя от галеты почти ничего не осталось — только мелкая пыль, которую она растирала между подушечками пальцев и роняла на столик. Снежинка из крошек становилась всё более чёткой, всё более правильной, и в её центре, там, где сходились шесть лучей, образовалось крошечное углубление, похожее на зрачок.

— А потом они исчезают, — сказала Зоя.

— Исчезают? — переспросила Анна. — Как исчезают?

— По-разному. Некоторые — прямо из палат. Ложишься спать — ребёнок на месте. Просыпаешься — койка пуста. Постельное бельё холодное, как будто в нём никто не лежал. Окна закрыты, двери заперты снаружи. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Другие исчезают по дороге домой — выписываются, идут с родителями, а на следующем перекрёстке... просто отстают. Или уходят вперёд. Или заходят за угол и не выходят. Родители ищут — нигде нет. Полиция ищет — бесполезно. А через несколько дней находят — в лесу, или на озере, или на старом ледозаводе. И с ними уже всё...

Она не договорила. Её пальцы замерли над столиком, и она наконец увидела то, что создали её руки. Снежинку. Идеальную, симметричную, жуткую в своём совершенстве снежинку из крошек печенья. Зоя уставилась на неё, и её лицо побелело. Не побледнело — побелело, стало белее больничного халата, белее снега за окном, белее того льда, что покрывал кости «ледяных детей».

— Чёрт, — прошептала она. — Чёрт, чёрт, чёрт...

Она резко взмахнула рукой, смахивая крошки со столика. Они разлетелись во все стороны, упали на пол, на диван, на колени Анны, и снежинка исчезла, рассыпавшись на бесформенные частицы. Зоя тяжело дышала, прижав ладонь к груди, и её глаза блестели от слёз, которые она отказывалась проливать.

— Это не суеверия, Зоя, — тихо сказала Анна. — Правда?

Зоя покачала головой. Она не плакала. Она просто сидела на продавленном диване, сжимая в побелевших пальцах кружку с надписью «Лучшей медсестре», и смотрела на пустой столик, где только что лежала снежинка из крошек. И в её молчании было больше ужаса, чем во всех словах, которые она произнесла за последние полчаса.

— Я боюсь, Аня, — сказала она наконец, и её голос был тихим, как шелест падающего снега. — Я так боюсь. У меня сын. Коля. Ему девять. И я каждую ночь проверяю, дышит ли он. Каждую ночь. Я не сплю уже... я не помню, когда спала. Потому что, когда я закрываю глаза, я вижу их — этих детей. Их лица. Их глаза. Их пустые, белые, мёртвые глаза. И я знаю — знаю, Аня, — что это не конец. Что это только начало. Что их будет сорок.

— Сорок? — переспросила Анна, и это слово отозвалось в ней глухим, тёмным эхом, словно она уже слышала его раньше — во сне, в детстве, в том провале памяти, который зиял на месте целого года её жизни.

— Я не знаю, — Зоя затрясла головой, и её волосы, выбившиеся из хвоста, упали на лицо, скрывая его. — Я не знаю, почему сорок. Я просто... я слышала. От бабы Нюры. От стариков. Они говорят — сорок. Говорят — когда наберётся сорок, он придёт. Морок. И тогда всё кончится.

Она замолчала. В сестринской стало тихо — так тихо, что Анна слышала, как бьётся её собственное сердце, и как бьётся сердце Зои, и как где-то в глубине больницы, в одной из палат, тихо, почти беззвучно плачет ребёнок, который не чувствует тепла.

— Тридцать девять, — прошептала Анна, вспоминая список на доске объявлений. — Ты сказала, тридцать девять случаев за пять лет.

— Да, — выдохнула Зоя и подняла на неё глаза — красные, воспалённые, полные такого ужаса, который не мог втиснуться в одном человеке. — Тридцать девять. И ещё один. Последний. Сороковой.

Она не сказала имя. Но Анна уже знала его. Знала с того момента, как увидела список в коридоре — тот, где некоторые фамилии были вычеркнуты жирной чёрной линией, протёршей бумагу почти до дыры. Последнее имя в этом списке. Имя, которое ещё не было вычеркнуто.

Коля Ильин. Девять лет. Сын Зои.

За стеной сестринской, в пустом коридоре, снова начал падать снег — невидимый, беззвучный, просачивающийся сквозь щели в оконных рамах и лежащийся на линолеум тонкой, искрящейся плёнкой. И вместе с ним в больницу вползал холод — тот самый, что ждал за порогом, на улицах, на площади, на озере. Ждал. Наблюдал. Считал дни до зимнего солнцестояния.

Анна протянула руку и накрыла ладонь Зои своей. Кожа подруги всё ещё была ледяной. Но теперь Анна знала, что это не болезнь, не симптом, не нарушение кровообращения. Это был страх. Страх, который замораживает кровь быстрее любого мороза. Страх матери, которая знает, что имя её ребёнка стоит в списке. И что этот список — не просто бумага. Это приговор. Отсроченный, но неотвратимый. Как зима. Как холод. Как сам Морок, поднимающийся из глубин озера Инеж, чтобы получить своё.

Тишина в сестринской сгустилась до такой степени, что Анна слышала не только дыхание Зои — прерывистое, поверхностное, с присвистом, — но и более тихие звуки: шорох оседающей пыли на плафоне лампы, потрескивание остывающего тэна в чайнике, далёкий, едва различимый гул водопроводных труб где-то в недрах больничного здания. Она всё ещё держала ладонь Зои в своей, и холод, исходивший от пальцев подруги, казалось, проникал сквозь её собственную кожу, поднимался по венам, добирался до запястья, до локтя, до плеча.

— Тридцать девять, — повторила Анна, и её голос нарушил тишину, как камень нарушает ледяную гладь пруда. — Ты сказала, что вела записи. Ты можешь рассказать подробнее — как именно их находили? При каких обстоятельствах? Кто их находил?

Зоя выдернула руку из-под её ладони — резко, почти грубо, — и отодвинулась на край дивана, словно физический контакт причинял ей боль. Её лицо, только что открытое в своём ужасе, снова начало закрываться: черты заострились, губы сжались в тонкую линию, глаза спрятались за полуопущенными веками.

— Находили по-разному, — ответила она, и её голос звучал теперь иначе — сухо, официально, как у медсестры, зачитывающей историю болезни на утренней пятиминутке. — Кого-то — на озере. Кого-то — в лесу. Кого-то — на старом ледозаводе, представляешь? Заброшенный цех, холодно, как в могиле... Дети сидели и ждали. Всегда ждали. Как будто знали, что за ними придут.

— Ждали — кого? — Анна подалась вперёд, пытаясь поймать взгляд Зои, но та упорно смотрела в пол — на то самое место, где только что лежала снежинка из крошек, сметённая в мусорную корзину.

— Не знаю. — Зоя пожала плечами, и это движение было неестественным, деревянным. — Они не говорили. Они вообще не говорили.

— А родители? — спросила Анна. — Как реагировали родители, когда находили своих детей в таком состоянии?

Вопрос повис в воздухе, и Анна сразу поняла, что переступила какую-то невидимую черту. Зоя замерла. Не просто перестала двигаться — она окаменела, как застывает вода, выворачиваясь ледяными иглами из фонтана на центральной площади. Каждая мышца её тела напряглась, каждая жилка на висках вздулась, и Анна увидела, как по её рукам — от запястий к локтям — побежала дрожь. Мелкая, частая, неконтролируемая.

— Зоя? — позвала она. — Зоя, что с тобой?

— Родители... — выдохнула Зоя, и это слово вырвалось из её горла, как вырывается последний воздух из проколотого лёгкого. — Родители...

Она подняла кружку к губам — ту самую, с надписью «Лучшей медсестре», — и Анна увидела, как дрожат её пальцы, как трясётся фарфоровый ободок, ударяясь о зубы. Чай, уже почти остывший, выплёскивался через край, стекал по подбородку, капал на халат, оставляя на белой ткани коричневые, похожие на засохшую кровь пятна. Зоя, казалось, не замечала этого. Она пыталась пить — судорожно, захлёбываясь, как человек, который много дней провёл в пустыне и дорвался наконец до воды.

Анна смотрела на неё, и где-то глубоко внутри, в том самом месте, где поселился холод, начало расти понимание. Что-то случилось с родителями. Что-то, о чём Зоя не могла или не хотела говорить. Что-то настолько страшное, что одно лишь упоминание об этом заставляло взрослую женщину, медсестру с пятнадцатилетним стажем, привыкшую к боли, крови и смерти, дрожать, как осиновый лист на ветру.

— Зоя, успокойся, — Анна протянула руку, чтобы забрать у неё кружку. — Давай я...

Но она не успела. Пальцы Зои разжались — не постепенно, а внезапно, словно их разомкнула невидимая сила, — и кружка выскользнула из её рук. На долю секунды она зависла в воздухе, и Анна увидела, как в мутной жидкости, ещё остававшейся на дне, отразился зелёный свет лампы, отразилось искажённое лицо Зои, отразилось что-то ещё — что-то тёмное, бесформенное, скользнувшее по поверхности, как тень от крыла пролетающей за окном птицы.

А затем кружка ударилась об пол.

Звук разбившегося фарфора был оглушительно громким в маленькой комнате без окон. Он ударил в барабанные перепонки, разлетелся на тысячу осколков вместе с самой кружкой и замер, оставив после себя звенящую, абсолютную тишину. Осколки разлетелись по линолеуму — белые, с синей полоской по краю, — а остывший чай растёкся бесформенной лужей, захватывая крошки печенья, сахар, кусочки галетной пыли, которые Зоя не успела смести.

Зоя смотрела на осколки, и её лицо было белым как мел. Анна тоже опустила взгляд — и вдруг замерла.

Лужица чая растекалась по полу, и по мере того, как жидкость впитывалась в старый, потрескавшийся линолеум, на нём проступало что-то ещё. Как будто чай действовал как проявитель на фотобумаге, вытягивая из глубины покрытия какой-то скрытый рисунок, какую-то тень, которая всегда была здесь, но пряталась до поры до времени.

Пятно.

Оно проступало медленно, неотвратимо — тёмное, жирное, с размытыми краями, уходящими в мелкую паутину трещин. Точно такое же пятно она видела этим утром в своей квартире — над дверным косяком. Та же форма, тот же размер — с человеческую голову, — та же структура: в центре почти чёрное, обугленное, а по краям расходящееся серыми, пепельными прожилками. Та же жуткая, неестественная чернота, которая не была просто копотью. Которая была меткой.

Анна отшатнулась. Её спина упёрлась в стену, и холод от крашеного бетона проник сквозь халат, сквозь одежду, сквозь кожу.

— Откуда это здесь? — услышала она собственный голос, прозвучавший хрипло и чуждо. — Зоя... откуда это пятно?

Зоя медленно, словно преодолевая сопротивление воды, перевела взгляд с осколков на пятно. И в ту же секунду её лицо исказилось гримасой такого чистого, незамутнённого ужаса, что Анна невольно отступила ещё на шаг. Это не было удивлением. Это не было непониманием. Это было узнавание — мгновенное, полное, ужасающее.

— Я не... — начала Зоя и осёклась. — Я не знаю... его здесь не было... не должно быть...

Она опустилась на колени — прямо в лужу чая, прямо на осколки, которые хрустнули под её весом, — и начала тереть пятно рукавом халата. Тёрла яростно, иступлённо, с каким-то отчаянным, безумным усердием. Но пятно не стиралось. Оно не тускнело, не расплывалось, не меняло очертаний — только становилось ярче, чётче, словно её попытки стереть его лишь сильнее втирали тьму в поверхность линолеума.

— Не смотри на это! — выкрикнула Зоя, не оборачиваясь. — Не смотри! Это просто грязь! Старая грязь! Я сейчас уберу, я сейчас...

Она схватила тряпку, висевшую на краю раковины, и принялась тереть снова, но пятно не поддавалось. Более того — Анна готова была поклясться, что оно увеличилось. Расширилось

на пару миллиметров. А может, ей просто казалось — в этом проклятом городе всё казалось, всё было зыбким, искажённым, как отражение в зеркале над каминной полкой.

— Зоя! — Анна опустилась рядом с ней на корточки и схватила её за плечи, заставляя остановиться. — Зоя, посмотри на меня! Что это? Почему оно такое же, как у меня в квартире? Что это значит?

Зоя подняла на неё глаза, и в этих глазах Анна увидела нечто, от чего кровь застыла в жилах. Там, в глубине расширенных зрачков, в обрамлении выпуклой, прозрачной радужки, плескался не просто страх. Там плескалось знание. Древнее, тёмное, запретное знание, которое Зоя носила в себе уже много лет. Знание, которое она не могла высказать словами, потому что слова для этого были слишком слабы, слишком человечны.

— Оно приходит перед тем, как... — прошептала Зоя. — Перед тем, как забирают. Перед тем, как он приходит. Это метка. Его метка. Она появляется там, где будет жертва. Я видела её... у Кравченко... у Бойко... у всех... и теперь...

Она не договорила. Её взгляд метнулся к двери, за которой, в конце коридора, в одной из палат лежали шестеро детей с плюсами в особых отметках. Шестеро «ледяных детей». Шестеро будущих жертв, чьи имена уже были записаны в каком-то жутком, нечеловеческом реестре.

— И теперь у меня в квартире, — закончила за неё Анна.

Зоя кивнула. Медленно, судорожно, как сломанный автомат. Её руки, всё ещё сжимавшие грязную тряпку, дрожали так сильно, что ткань ходила ходуном, и с неё капала бурая, смешанная с чайной заваркой вода. Пятно на полу сестринской смотрело на Анну своей чёрной, обугленной сердцевинкой, и в этой сердцевинке ей чудилось движение — слабое, едва заметное, как шевеление личинки внутри кокона.

За стенами больницы, во дворе, где между старыми тополями висели пустые верёвки для белья, снег всё падал и падал — беззвучный, неумолимый, заматающий следы. И вместе с ним в город входила ночь — та самая ночь, что приближалась к зимнему солнцестоянию, отсчитывая последние дни, оставшиеся до того, как пазл сложится и сороковое имя будет зачёркнуто.

Анна поднялась с колен, чувствуя, как ломит поясницу, как холод проникает сквозь подошвы туфель, как дрожат её собственные руки. Она смотрела на Зою — измождённую, сломленную, стоящую на коленях перед пятном копоты, — и понимала, что граница между реальностью и кошмаром, между научным знанием и древним суеверием, между жизнью и смертью в этом городе была стёрта. Исчезла. Растворилась, как растворяется снежинка на горячей ладони — если только ладонь ещё способна чувствовать тепло.

— Я помогу тебе, — тихо сказала она, и её голос прозвучал твёрже, чем она ожидала. — Я не знаю как, но я помогу. И Коле помогу. Обещаю.

Зоя подняла голову. В её глазах, сквозь пелену ужаса и отчаяния, на мгновение блеснуло что-то похожее на надежду. Но она ничего не сказала. Только покачала головой — медленно, безнадежно, — и снова принялась тереть пятно тряпкой, хотя обе они уже знали, что оттереть его невозможно. Потому что это была не грязь. Не копоть. Не плесень. Это была метка. Метка Морока. И она появилась здесь задолго до того, как Анна переступила порог этой больницы. Возможно — в тот самый день, когда пять лет назад пропал первый ребёнок. Возможно — ещё раньше. Возможно — в ту самую зиму, которую она не помнила, и о которой напоминала лишь старая фотография с белёсыми, незрячими детскими глазами.

За дверью сестринской, в пустом коридоре, зажглась и погасла лампа дневного света, словно кто-то невидимый моргнул. И в этой мгновенной вспышке темноты Анна услышала звук — тихий, едва различимый, похожий на вздох. На выдох. На дыхание, которое с задержкой в долю секунды повторяло её собственное.

Они вышли из сестринской в коридор, и Анна сразу почувствовала, как изменился воздух. Дневной свет, ещё недавно сочившийся сквозь окна педиатрического отделения, почти угас, уступив место серым, промозглым сумеркам, которые в Белореченске наступали не посте-

пенно, а как-то сразу, одним рывком, словно кто-то невидимый поворачивал выключатель. Лампы дневного света под потолком гудели всё так же неровно, с перебоями, и их зеленоватое свечение казалось теперь не просто тусклым, а каким-то подводным, нереальным, как свет в глубоководной впадине, куда никогда не проникает солнце.

Зоя шла впереди, и её спина, обтянутая выцветшим медицинским халатом, выглядела неестественно прямой, напряжённой — так ходят люди, которые ожидают удара в спину и заранее готовятся его принять. Она больше не говорила о больничном оборудовании, о новых кроватках, о кварцевых лампах. Она молчала, и это молчание было тяжелее любых слов.

Они миновали процедурную, ординаторскую, пост медсестры, где за стеклянной перегородкой никого не было — только журнал дежурств, раскрытый на пустой странице, и одинокая ручка, забытая кем-то на краю стола. Анна бросила взгляд на доску объявлений — список с вычеркнутыми фамилиями всё ещё висел там, и теперь, в сумеречном свете, чёрные линии, перечёркивавшие имена, казались ещё жирнее, ещё агрессивнее, словно тот, кто их проводил, старался не просто вычеркнуть, а уничтожить, стереть саму память о существовании этих детей.

Она подумала о тридцати девяти. Тридцать девять имён, тридцать девять детей, тридцать девять свечей, погашенных чьей-то безжалостной рукой. И ещё одно имя — последнее, сороковое, — которое пока не было зачёркнуто, но уже значилось в списке. Коля Ильин. Сын женщины, что шла сейчас впереди неё, расправив плечи и высоко подняв голову, словно идя на эшафот.

Они остановились у выхода из отделения — у двойных дверей с матовыми стёклами, за которыми начиналась лестница, ведущая в вестибюль. Здесь было темнее, чем в коридоре: одна из ламп над дверями перегорела, и вторая, оставшаяся, бросала на пол лишь узкий, дрожащий круг света, окружённый со всех сторон густыми, почти осязаемыми тенями.

Зоя повернулась к Анне. Движение было резким, порывистым, каким-то нечеловеческим — так поворачивается марионетка, которую дёрнули за нитку. Её лицо в полумраке казалось вырезанным из старой слоновой кости: жёлтое, с глубокими тенями в глазницах, с заострившимися скулами, с потрескавшимися, искусанными в кровь губами. От той Зои, которую Анна помнила с детства — хохотушки с румяными щеками и ямочками на подбородке, — не осталось ничего. Перед ней стоял призрак, живой мертвец, женщина, которая много лет не спала и много лет боялась, и этот страх съел её заживо, оставив только оболочку.

— Анна, — сказала Зоя, и в её голосе не было ни бодрости, ни громкости, ни той лихорадочной весёлости, которую она напускала на себя всё утро. Только глухая, безнадёжная усталость. — Послушай меня. Послушай внимательно. Я знаю, что ты уже видела. Я знаю, что ты уже заметила — и пятно, и холод, и... и всё остальное. Но я прошу тебя. Я умоляю тебя. Не ходи туда.

— Куда? — спросила Анна, хотя уже знала ответ.

— В подвал. В архив. — Зоя говорила быстро, захлёбываясь словами, словно боялась, что не успеет их произнести. — Там старые документы. Старые истории болезни. Старые рентгеновские снимки. Всё, что осталось от... от них. Но тебе не нужно это видеть. Тебе не нужно это знать. Просто делай свою работу, лечи обычных детей, простуду там, ангину, ветрянку — и не лезь в то, во что лезть не надо. Обещай мне. Обещай, что не полезешь.

Анна смотрела на неё и молчала. В голове крутились обрывки сегодняшнего дня: мёртвый ворон на столбе, ледяной фонтан, пустая детская площадка, зеркало, отказывающееся отражать огонь, фотография с белёсыми детскими глазами, пятно копоты над косяком. И теперь — ещё и подвал. Архив. Старые рентгеновские снимки. Значит, там было что-то. Что-то, что могло подтвердить слова Зои о «ледяных детях». Что-то, что могло объяснить происходящее. Что-то, что больница — или город, или кто-то ещё — пытался скрыть.

— Я не могу обещать, — сказала она наконец. — Ты сама понимаешь: я врач. Я не могу игнорировать...

— Ты не понимаешь! — Зоя схватила её за запястье, и Анна едва не вскрикнула. Пальцы подруги были ледяными — не просто холодными, а обжигающе ледяными, как куски металла, пролежавшие всю ночь на морозе. Они сжались вокруг запястья с силой, неожиданной для такой измождённой, истощённой женщины, и Анна почувствовала, как холод от этих пальцев проникает сквозь рукав халата, сквозь кожу, сквозь мышцы, добираясь до самой кости. — Ты не понимаешь, что здесь творится после заката! Ты думаешь, это просто город? Ты думаешь, это просто зима? Нет! Это... это...

Она запнулась, подбирая слово. Её губы шевелились беззвучно, а в глазах — Анна увидела это совершенно отчётливо — что-то промелькнуло. Что-то белое. Что-то стремительное. Не отражение больничной лампы под потолком, не блик от стеклянной двери — а что-то иное, что-то, что двигалось само по себе. Как позёмка, несущаяся над снежным полем. Как метель, закручивающаяся в спираль. Как белая, слепая, безмолвная выюга, которая жила внутри зрачков Зои и смотрела оттуда на Анну.

Анна замерла. Она не могла отвести взгляд. То, что двигалось в глазах Зои, не было иллюзией, не было оптическим обманом. Это было реальным. Это было живым. И на долю секунды — на ничтожную, ускользающую долю секунды — Анна увидела в этих глазах нечто огромное. Нечто бескрайнее. Ледяную пустыню, простирающуюся во все стороны, под чёрным, лишённым звёзд небом. И в центре этой пустыни, на троне из застывшего света, сидел некто — безликий, безмолвный, древний, как сам холод, как сама зима, как сама пустота между атомами и между звёздами. И он смотрел на неё. Смотрел сквозь Зою. Смотрел и ждал.

Видение исчезло так же внезапно, как появилось. Зоя моргнула, и её глаза снова стали просто глазами — красными, воспалёнными, окружёнными тёмными кругами, но человеческими. Она отпустила запястье Анны и отступила на шаг, тяжело дыша.

— Просто... не задавай вопросов, — прошептала она. — Не ходи в архив. Не выходи на улицу после заката. Держись подальше от озера. И от ледозавода. И от старого роддома. И если увидишь что-то... что-то странное... что-то, чего не может быть, — не смотри на это. Отвернись. Иди прочь. И никогда, никогда не пытайся с этим заговорить.

Она развернулась и, прежде чем Анна успела что-либо ответить, толкнула дверь и вышла в вестибюль. Её шаги — быстрые, неровные, спотыкающиеся — эхом отозвались в пустом пространстве и затихли где-то внизу, на первом этаже. Хлопнула входная дверь. И снова наступила тишина.

Анна стояла у дверей педиатрического отделения, сжимая запястье, на котором всё ещё горел след от ледяных пальцев Зои. Кожа в этом месте побелела, будто обмороженная, и чувствительность в ней почти исчезла. Она попыталась согнуть пальцы — они слушались плохо, словно отсиженные. Холод, проникший в руку, не уходил; он затаился где-то в глубине тканей, как зверь, готовящийся к прыжку.

Она выглянула в окно. Вестибюль больницы выходил на ту же улицу, что и центральная площадь, и с высоты второго этажа Анна видела кусочек города, погружающегося в сумерки. Небо над крышами было ясным — абсолютно, неестественно ясным, без единого облачка, без малейшего признака снегопада или метели. Последние лучи заходящего солнца окрашивали горизонт в бледно-розовый, почти прозрачный цвет, и в этом свете голые ветви тополей казались нарисованными тушью на шёлке.

На улице было ясно. И это было страшнее всего.

Потому что в глазах Зои только что бушевала метель. Белая, беззвучная, неостановимая. И она не имела никакого отношения к погоде за окном. Она была внутри. Внутри Зои. Внутри этого города. Внутри самой Анны — с того самого момента, как она переступила невидимую границу, отмеченную покосившимся указателем с пробитой буквой «ч».

Она постояла ещё немного, глядя на пустой вестибюль, на тёмные углы, на лестницу, ведущую вниз, к выходу, а оттуда — ещё ниже, в подвал, где, по словам Зои, хранились старые архивы и рентгеновские снимки. Тридцать девять историй болезни. Тридцать девять загадок. Тридцать девять ключей к разгадке — и одно предупреждение, сделанное ледяными пальцами и голосом, в котором звенел ужас.

Она не обещала, что не полезет. И Зоя знала это.

Где-то внизу, за стенами больницы, город погружался в ночь. И в этой ночи, в её белом, безмолвном сердце, что-то пробуждалось. Что-то, что спало тридцать лет. Что-то, что ждало сороковую жертву. Что-то, что уже пометило своим присутствием квартиру Анны, больничную сестринскую и — она только теперь это осознала — её собственную душу.

Она развернулась и медленно пошла обратно по коридору, в ординаторскую, где на столе всё ещё лежал её неразобранный саквояж. Где-то в его потайном кармашке, между стерильными шпателями и упаковками с ампулами, покоилась старая фотография с белёсыми детскими глазами и полустёртой надписью «Перед первой зимой». И сейчас, в тишине пустого отделения, Анна готова была поклясться, что слышит, как фотография шепчет. Как шепчут имена — тридцать девять имён, — записанные на ней невидимыми чернилами. Как шепчет далёкий, беззвучный детский смех, доносящийся с берега замёрзшего озера, где в ожидании сороковой жертвы терпеливо стоит тень между деревьями. Тень без лица. Тень с белёсыми, прозрачными, нечеловеческими глазами.

Глава 3. Сосуд



Смотровая располагалась в дальнем конце педиатрического отделения, рядом с процедурной, и отличалась от других помещений разве что размерами — чуть просторнее, чуть светлее — да наличием старомодной кушетки, обтянутой потрескавшимся дерматином, над которой нависала лампа на подвижном штативе. Стены здесь были выкрашены в тот же бледно-зелёный цвет, но на одной из них, прямо над раковиной, кто-то из прежних врачей повесил

выцветший плакат с изображением человеческого скелета, и теперь этот скелет ухмылялся Анне с порога своим вечным, ничего не выражающим оскалом.

Утро за окном было серым, бессолнечным — из тех ноябрьских утр, когда не можешь точно сказать, рассвело уже или всё ещё длится ночь, просто тьма стала чуть менее густой. Снег, начавшийся накануне, прекратился, но небо оставалось затянутым плотной, белёсой пеленой, сквозь которую не проникало ни луча. Анна стояла у окна, спиной к двери, и пыталась согреть руки о кружку с горячим чаем — третью за это утро. Чай был почти безвкусным, кипяток из больничного титана отдавал ржавчиной, но тепло, пусть даже иллюзорное, помогало собраться с мыслями. После вчерашнего разговора с Зоей она почти не спала: лежала в чужой квартире, смотрела в потолок, по которому от печи разбежались тени, и пыталась сложить разрозненные фрагменты в единую картину. Тридцать девять детей. Ледяные дети. Метка над косяком. Архив в подвале, куда ей велели не соваться. И Зоины глаза, в которых на мгновение отразилась метель, хотя за окном было ясно.

Она почти убедила себя, что всё это можно объяснить рационально. Стресс, недосып, смена обстановки, особенности местного климата, массовая истерия в изолированном сообществе — в медицинских учебниках описывались подобные случаи. Коллективные психозы, индуцированные бредовые расстройства, эпидемии страха в закрытых коллективах. Она повторяла эти термины про себя, как мантру, и к утру почти поверила, что у происходящего есть разумное, научное объяснение.

Дверь за её спиной открылась.

— Анна Сергеевна, — раздался скрипучий, простуженный голос санитарки, — принимайте пациента. Леденцов Тимофей, девять лет. Две недели в розыске, вчера лесник нашёл на семнадцатом километре. Оформлен через приёмный покой, анализы назначены, рентген назначен, история болезни на столе.

Анна обернулась. Санитарка — пожилая женщина с лицом, напоминавшим печёное яблоко, и с седыми волосами, убранными под белую косынку, — стояла в дверях, придерживая за плечо мальчика. Того самого Тимофея Леденцова, чьё имя Анна видела вчера в расписании процедур с жирным плюсом в графе «особые отметки». Предпоследнее имя в списке. Тридцать девятое.

— Спасибо, Нина Петровна, — сказала Анна, ставя кружку на подоконник. — Проходи, Тимофей. Садись на кушетку.

Мальчик вошёл. Он двигался не так, как двигаются обычные девятилетние дети — шумно, порывисто, с любопытством озираясь по сторонам. Нет, он вошёл медленно, плавно, почти бесшумно, и каждое его движение было выверенным, экономным, лишённым той избыточной энергии, что свойственна здоровому ребёнку. Он не озибался, не задавал вопросов, не улыбался. Просто переступил порог, остановился на мгновение, словно оценивая расстояние до кушетки, а затем так же молча пересёк комнату и сел — аккуратно, ровно, положив руки на колени.

Анна взяла историю болезни со стола и открыла её. Бланк был стандартным, заполненным от руки, и она пробежала глазами по строчкам: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, жалобы при поступлении. В графе «обстоятельства обнаружения» значилось: «Найден лесником Коробовым А. Д. на 17-м км лесной дороги, сидящим на пне с открытыми глазами. На вопросы не отвечал. Реакция на внешние раздражители отсутствует. Аппетит отсутствует. Речь отсутствует». Ниже была приписка другим почерком — видимо, дежурного врача приёмного покоя: «Физических повреждений не обнаружено. Следов обморожения не обнаружено. Признаков истощения не обнаружено. Рекомендована консультация педиатра».

Анна подняла глаза и внимательно посмотрела на мальчика.

Он был одет в джинсы и тёмно-синюю флисовую куртку — обычную детскую одежду, какую можно купить в любом магазине. Но что-то в этой одежде было не так. Анна прищу-

рилась, пытаясь понять, что именно её беспокоит, и вдруг осознала: одежда была слишком чистой. Безупречно, неестественно чистой. Ни пятнышка грязи, ни следа от травы, ни потёртости. Куртка выглядела так, будто её только что вынули из заводской упаковки. Джинсы — будто их ни разу не надевали. Даже подошвы кроссовок, которые Анна увидела, когда мальчик залез на кушетку, оказались без единого следа грязи, без камешка, застрявшего в протекторе, без малейшего признака того, что их владелец две недели провёл в зимнем лесу.

А ведь он был в лесу. Две недели. В ноябре. Когда температура по ночам опускалась ниже минус десяти. Когда шёл дождь, сменявшийся мокрым снегом, а потом — тем самым густым, неестественным снегопадом, который Анна наблюдала из окна своей квартиры. Две недели в лесу — и ни следа грязи на одежде. Ни царапины на коже. Ни признака обморожения на бледном, неподвижном лице.

Она подошла ближе, опустила на корточки перед кушеткой, чтобы оказаться на одном уровне с мальчиком. Тимофей был худым — как и следовало ожидать от ребёнка, пропавшего на две недели, — но не истощённым. Его щёки не ввалились, кожа сохраняла нормальный тургор, а под глазами, хоть и темнели круги, не было той глубокой, синюшной впалости, что появляется при обезвоживании и голодании. Он выглядел так, будто две недели не провёл в лесу без еды и воды, а просто... отсутствовал. Исчез из реальности. А потом вернулся, не изменившись ни на грамм.

— Тимофей, — позвала Анна, стараясь, чтобы голос звучал мягко, но профессионально. — Меня зовут Анна Сергеевна. Я твой лечащий врач. Ты понимаешь, где ты сейчас находишься?

Мальчик не ответил. Его глаза — светлые, серо-голубые, — смотрели прямо перед собой, на плакат со скелетом, висевший на стене. Он не моргал. Вернее, моргал, но реже, чем следовало бы — раз в десять-пятнадцать секунд, — и каждое моргание было медленным, плавным, как движение воды под толщей льда. Анна заметила, что ресницы у него светлые, почти белые, как у альбиноса, хотя волосы на голове были русыми, обычного оттенка.

— Тимофей, — повторила она, повысив голос. — Ты слышишь меня?

Никакой реакции. Тогда Анна сделала то, что делают врачи, когда хотят проверить реакцию пациента: легонько коснулась пальцами его запястья. Кожа мальчика была прохладной — чуть прохладнее, чем можно было ожидать от ребёнка, одетого в тёплую куртку в натопленном помещении, — но не ледяной. Просто прохладной. Как кожа человека, который только что зашёл с улицы и ещё не успел согреться.

Однако реакция на прикосновение оказалась странной. Тимофей не вздрогнул, не отдернул руку, не посмотрел на место касания. Он вообще никак не отреагировал. Словно прикосновения не было вовсе. Словно Анна прикасалась не к живому человеку, а к кукле — к искусно сделанной, удивительно реалистичной, но пустой внутри.

Она взяла его руку в свою и легонько сжала. Пальцы мальчика были холоднее, чем запястье, и на ощупь напоминали не живую плоть, а что-то иное — воск, может быть, или старый, высохший пластилин. Податливые, но какие-то неживые, как пальцы манекена.

— Тимофей, если ты меня слышишь, моргни два раза. Просто моргни, и я пойму.

Его глаза оставались неподвижными, устремлёнными в одну точку. Там, в глубине серо-голубой радужки, Анна увидела собственное отражение — крошечную фигурку женщины в белом халате. И в этом отражении было что-то глубоко неправильное. Что-то, что она не сразу смогла определить.

Зрачки. У Тимофея были нормальные зрачки — не расширенные и не суженные, реагирующие на свет. Но по краям радужки, там, где серый цвет переходил в голубой, а голубой — в белок, Анна заметила тонкую, едва заметную кайму. Она была не белой, не серой — она была прозрачной. Кристаллически прозрачной, как кромка льда на стекле. И эта кайма, казалось, медленно расширялась, захватывая всё новые участки радужки, подбираясь к зрачку.

Анна отпустила его руку и выпрямилась. В висках застучало. Ей вдруг стало холодно — тем самым холодом, который она научилась узнавать за два дня, проведённых в Белореченске. Холодом, который шёл не снаружи, а изнутри, из самой глубины её существа, и говорил на языке, древнем, как страх, что всё, во что она верила — наука, медицина, рациональность, — здесь бессильно.

Она взяла со стола фонендоскоп, надела его на уши и приложила мембрану к груди мальчика — туда, где должно было биться сердце. Сначала не услышала ничего, кроме шума собственной крови в ушах, а затем, очень тихо и очень медленно, до неё донёсся звук.

Тук. Пауза. Тук. Пауза. Тук.

Сердце Тимофея билось. Но билось оно странно — с большими, неестественно длинными паузами между ударами, словно каждое сокращение давалось ему с трудом, словно сердечная мышца преодолевала сопротивление какой-то густой, вязкой субстанции, заполнившей вены. И каждый удар был глухим, приглушённым, словно доносился из-за толстой стены или из-под слоя чего-то плотного. Чего-то холодного.

Анна сняла фонендоскоп и положила его на стол. Потом взяла два термометра: электронный, в пластиковом футляре с надписью «Omron», и старый, ртутный, в стеклянной колбе. Начала с электронного — он был быстрее.

— Я сейчас измеряю тебе температуру. Просто открой рот.

Наконечник приблизился к его губам. Мальчик не отреагировал — рот оставался закрытым, губы плотно сжатыми. Анна попыталась легонько надавить на подбородок, но челюсть Тимофея была словно сведена судорогой — сомкнута с какой-то механической окончательностью, не допускавшей вмешательства. Пришлось переключиться на подмышечную впадину. Она расстегнула молнию его куртки, оттянула ворот кофты и майки. Кожа была сухой и гладкой, как поверхность отполированного временем мрамора. Пристроила наконечник, прижала руку мальчика к телу и стала ждать.

Через пятнадцать секунд градусник запищал. Анна поднесла его к глазам, ожидая увидеть цифры на дисплее. Но дисплей был пуст. Вернее, на нём горело одно-единственное слово, мигавшее красным: «ERROR». Ошибка. Она нахмурилась, выключила прибор и включила снова. Повторила процедуру — на этот раз в другой подмышечной впадине. Результат тот же: «ERROR».

— Батарейка, наверное.

Но батарейка была новой — она сама меняла её неделю назад, перед отъездом. Проверила на себе: через десять секунд дисплей показал «36,6». С ней всё было в порядке. С прибором всё было в порядке. Однако когда она снова попыталась измерить температуру Тимофея — сначала под мышкой, потом во рту, куда ей всё-таки удалось просунуть наконечник, осторожно разжав его губы, — электроника снова выдала ошибку. Словно не могла распознать в мальчике живое существо.

Анна положила бесполезный «Omron» на стол и взяла ртутный. Встряхнула — серебристый столбик скользнул вниз, к шарикку, — и снова подошла к пациенту.

— Давай попробуем по старинке. Пять минут, и узнаем, что с тобой не так.

Она пристроила градусник под мышку, прижала руку Тимофея к телу и стала считать. Через минуту вынула и поднесла к глазам. Ртутный столбик стоял на отметке «34,2». Тридцать четыре и две десятых. Это было невозможно. При такой температуре у нормального человека начинается спутанность сознания, нарушается координация, сердце замедляется настолько, что каждая следующая минута может стать последней. При такой температуре люди не сидят с прямой спиной, не сохраняют нормальный цвет кожи. При такой температуре люди умирают.

Но Тимофей не умирал. Он просто сидел и смотрел на плакат со скелетом, и его глаза оставались такими же спокойными, как поверхность замёрзшего озера.

Анна снова поставила градусник и выждала ещё четыре минуты, строго по инструкции. Результат не изменился: 34,2. Она аккуратно положила его на стол, рядом с электронным, и вернулась к мальчику.

— Теперь проверим пульс.

Она взяла его запястье и нащупала точку, где лучевая артерия ближе всего подходит к коже. Стала ждать. Секунда. Две. Три. Ничего. Четыре. Пять. Шесть. Слабый, едва заметный толчок под подушечкой указательного пальца. Анна затаила дыхание. Потом ещё один — через три секунды после первого. И ещё один — снова через три секунды. Она смотрела на часы, считая удары и интервалы. Двадцать ударов в минуту. Двадцать.

Для девятилетнего ребёнка нормой является пульс от семидесяти до ста десяти. У тренированных спортсменов в глубоком покое он может опускаться до сорока-пятидесяти. Двадцать — это пульс человека в состоянии глубокой гипотермии, на грани клинической смерти. При таком пульсе мозг не получает достаточно кислорода, ткани начинают отмирать, и если не принять экстренных мер, через несколько минут наступает остановка сердца.

Но Тимофей не умирал. Его сердце билось — медленно, мучительно медленно, — но билось, и каждый удар был удивительно ритмичным, словно внутри грудной клетки работал не живой орган, а какой-то точный, безупречно настроенный механизм. И этот механизм был холодным. Анна чувствовала это сквозь кожу: холод, исходивший из глубины тела, пульсировал вместе с кровью, распространяясь от сердца к конечностям, и каждый толчок отдавался в её собственных пальцах слабой, затухающей волной.

Она отпустила запястье и приложила ладонь к его щеке. Кожа напоминала прохладный шёлк: гладкая, сухая, приятная на ощупь, но совершенно лишённая того глубинного, животного тепла, что исходит от любого живого существа. Так на ощупь мог бы ощущаться труп, пролежавший в прохладной комнате несколько часов — ещё не окоченевший, но уже потерявший последнее тепло жизни. Но Тимофей не был трупом. Его кровь текла. Его лёгкие наполнялись воздухом — пусть редко, пусть поверхностно, но наполнялись. Он был жив, но жизнь эта была какой-то иной, чужой, словно внутри его тела поселилось что-то, не нуждавшееся в тепле.

Анна убрала руку. Пальцы дрожали — от холода ли, от страха ли, от того и другого вместе. Она подошла к раковине, открыла кран. Вода из старых труб пошла не сразу — сначала захрипела, выплонула ржавую струю, — а потом хлынула, обжигаяще горячая, паром заволакивая зеркало. Анна наполнила резиновую грелку — стандартную, больничную, из плотной красной резины, — старательно вытеснила воздух, прежде чем закрыть, и обернула её фланелевой пелёнкой. Тепло проникло сквозь ткань, согрело ладони, и на мгновение она позволила себе прикрыть глаза, представить, что она в другом месте — там, где нет этого холода, этого города, этого мальчика с ледяными глазами.

Затем вернулась к кушетке и опустилась на колени.

— Я сейчас приложу грелку к твоим ногам. Если почувствуешь тепло — дай мне знать. Хотя бы моргни. Хотя бы пошевели пальцем. Что угодно.

Мальчик не ответил. Анна осторожно сняла с него кроссовки — те самые, неестественно чистые, — затем носки. Стопы были такими же бледными, как и лицо, с голубоватыми прожилками вен. Она приложила грелку, плотно обернув их фланелью, и стала ждать.

Первые несколько секунд ничего не происходило. Она держала грелку, чувствуя, как тепло проникает сквозь пелёнку, согревая её собственные ладони. Стопы Тимофея под тканью оставались неподвижными. Анна прижала грелку плотнее, почти с силой, надеясь, что более интенсивное тепло вызовет хоть какую-то реакцию.

А потом она заметила это.

Сначала — изменение температуры. Грелка, только что горячая, почти обжигающая, начала остывать. Не постепенно, как остывает любая грелка, отдавая тепло телу пациента, а

быстро — слишком быстро, неестественно быстро. За какие-то тридцать секунд она прошла путь от «горячо» до «тепло», а ещё через минуту стала прохладной. Анна прижала ладонь к резиновой поверхности и почувствовала, что та больше не греет. Совсем.

Она отдёрнула пелёнку. Грелка, которую она только что наполняла кипятком, была холодной. Не просто остывшей — холодной, как предмет, пролежавший всю ночь на морозе. Анна поднесла её к лицу и коснулась щекой. Резина обожгла холодом — тем самым, голодным, высасывающим тепло холодом, который она уже научилась узнавать.

А затем она увидела иней.

Он проступал на поверхности грелки — в том месте, где резина соприкасалась с кожей мальчика. Тонкий, кристаллический, переливающийся в свете лампы узор, похожий на папоротник или на морозный рисунок на зимнем окне. Он расплзался от центра к краям, захватывая всё новые участки резины, и там, где он проходил, поверхность становилась хрупкой, твёрдой, словно промёрзла насквозь. Анна провела пальцем по инею — он не таял. Она тёрла его, скребла ногтем, но кристаллы оставались на месте, вьёвшись в материал.

Она перевела взгляд на стопы Тимофея. Там, где грелка касалась его кожи, не было ни покраснения, ни малейшего следа теплового воздействия. Но на подошвах, в ложбинке между пальцами, Анна заметила тонкую, почти невидимую плёнку — ту самую, что уже видела на его глазном дне. Иней. Он рос не снаружи, а изнутри, проступая сквозь поры, как проступает пот у нормального, разгорячённого человека. Только это был не пот. Это был лёд.

Она выпустила грелку из рук. Та упала на пол с глухим, неестественно твёрдым стуком — словно упал не резиновый пузырь с водой, а кусок замёрзшей земли. Анна отступила на шаг, глядя на мальчика, который продолжал сидеть всё в той же позе, всё с тем же выражением лица. Выражением, которое она только теперь смогла определить.

Вежливое ожидание.

Да, именно так. Тимофей смотрел прямо перед собой не с тупой апатией, не с отсутствием сознания. Он смотрел так, как смотрит хорошо воспитанный ребёнок, которого родители попросили подождать в приёмной, пока они закончат важный разговор. Он ждал. Ждал терпеливо, без жалоб, без нетерпения. Ждал чего-то, что должно было случиться. И это что-то не имело никакого отношения к больничной грелке, к измерению температуры, к её попыткам пробиться сквозь ледяную стену.

Анна наклонилась, подняла грелку и положила её на стол, рядом с ртутным градусником и электронным термометром, который всё ещё мигал красной надписью «ERROR». Три прибора — три свидетеля невозможного. Она посмотрела на свои руки: кончики пальцев, державшие грелку, побелели и онемели, словно она и впрямь прикасалась к куску льда. Подышала на них, пытаясь согреть. Тёплый воздух из лёгких показался почти неосязаемым — как будто её собственное тело начало терять способность распознавать тепло.

— Что же ты такое? — прошептала она. — Что с тобой сделали?

Мальчик не ответил. Но теперь Анне показалось — или это действительно было так? — что уголки его губ чуть-чуть приподнялись. Не в улыбке, нет. Скорее, в тени улыбки, в её бледном, едва намеченном отражении. Словно внутри его ледяного кокона ещё теплилось что-то человеческое, что-то, что помнило, как это — улыбаться. Или словно что-то иное, глядевшее сквозь его глаза, училось имитировать человеческие эмоции.

Анна заставила себя думать как врач. Только как врач. Не как испуганная женщина, а как профессионал, обученный методично исключать возможные диагнозы, пока не останется единственный — правильный. Даже если этот диагноз не значился ни в одном медицинском справочнике.

— Хорошо, Тимофей, давай продолжим осмотр. Я проверю твои глаза. Это стандартная процедура, ничего страшного.

Она достала из ящика ручной офтальмоскоп, проверила его работу, направив луч на ладонь. Свет был ярким, голубовато-белым. Затем опустила на корточки, чтобы оказаться на уровне его лица.

— Сейчас я посвечу тебе в глаза. Просто смотри прямо перед собой.

Она поднесла прибор к его правому глазу и нажала кнопку. Луч ударил в зрачок.

В нормальных условиях зрачок человека сужается мгновенно — это защитный рефлекс, отточенный миллионами лет эволюции. Анна видела эту реакцию тысячи раз. Но здесь реакция была иной. Зрачок Тимофея сузился — но не мгновенно, а с задержкой. Раз, два, три. Только на третьей секунде чёрный кружок начал медленно, словно нехотя, сокращаться. Это не походило на нормальный рефлекс. Это походило на то, как если бы сигнал от зрительного нерва шёл куда-то дальше, чем нужно, — в какую-то иную, глубинную часть мозга, не имевшую отношения к зрению, — и только потом, обойдя неведомые преграды, возвращался к мышцам радужки.

Анна нахмурилась. Перевела луч на левый глаз. Та же картина: задержка в две-три секунды, затем медленное, плавное сужение, словно не живая ткань сокращалась, а двигался механизм, спрятанный за глазным яблоком. Она повторила тест дважды, трижды — результат оставался неизменным.

И тут она заметила цвет.

Радужка Тимофея, когда Анна впервые посмотрела на мальчика, была серо-голубой — обычный, ничем не примечательный оттенок. Но теперь, под ярким светом офтальмоскопа, она начала меняться. Серый блёк, вымывался, словно краска, растворяющаяся в воде, и на его месте проступал другой — молочно-белый, непрозрачный, лишённый всякого пигмента. Радужка становилась белой, как бельмо, как лёд на поверхности озера, как иней на резине грелки. И в этой белизне, в самой её глубине, Анна увидела крошечные искорки — микроскопические кристаллы, отражавшие свет обратно, в её собственные глаза.

Она отдернула руку. Луч метнулся в сторону, ударил в плакат со скелетом, и на мгновение Анне показалось, что нарисованные кости шевельнулись. Она зажмурилась, досчитала до пяти и снова открыла глаза. Скелет был неподвижен. Радужка Тимофея медленно, очень медленно возвращалась к исходному серо-голубому цвету, но теперь Анна знала, что скрывается под ним. Белое. Пустое. Ледяное.

— Хорошо, — выдохнула она, кладя офтальмоскоп на стол. — Теперь посмотрим твоё горло.

Она взяла деревянный шпатель, разорвала упаковку. Тимофей не шевелился. Анна осторожно, двумя пальцами, взяла его за подбородок и попыталась разжать челюсти. На этот раз они поддались — словно мышцы, удерживавшие их сомкнутыми, получили безмолвный приказ и расслабились. Рот открылся.

Первое, что она заметила, — отсутствие пара. Она находилась так близко к его лицу, что их дыхание должно было смешиваться в холодном воздухе смотровой. Её собственное вырывалось из ноздрей лёгкими облачками. Но от губ Тимофея не исходило ничего. Воздух, выходящий из его лёгких, был той же температуры, что и воздух в помещении, и не оставлял туманного следа. Анна поднесла ладонь почти вплотную — и ничего не почувствовала. Ни тепла, ни прохлады, ни движения. Словно мальчик вообще не дышал, хотя его грудная клетка продолжала мерно подниматься и опускаться.

Она прижала шпатель к языку и заглянула в горло. Миндалины — нормального размера, без признаков воспаления. Нёбные дужки — ровные, симметричные. А вот слизистая оболочка имела цвет, которого Анна никогда не видела у живого человека. Не розовый, не красный, не бледный — бледно-голубоватый, с едва заметным сиреневым оттенком, какой бывает у теней на снегу в сумерках. Такой цвет называют цианотичным, он свидетельствует о недостатке кислорода, о гипоксии, о том, что ткани задыхаются. Но Тимофей не задыхался. Его сердце билось

— пусть медленно, но ритмично, — и на лице не было ни малейших признаков дыхательной недостаточности.

Анна осторожно провела шпателем по внутренней стороне щеки, собирая образец. Ткань была прохладной и на ощупь напоминала плотный, упругий гель. Она отняла шпатель и поднесла его ближе к свету. На деревянной поверхности остался след — тонкая, блестящая полоска, переливавшаяся микроскопическими кристаллами. Теми же кристаллами, что она видела в его глазах, на его стопах, на грелке. Иней на слизистой. Иней внутри живого организма.

— Этого не может быть, — прошептала она. — Этого просто не может быть.

Но это было. Доказательства лежали перед ней: на шпателе, на грелке, в глазах мальчика, в его крови, в его костях, о которых она ещё ничего не знала, но уже догадывалась. Всё в нём было пропитано стужей — активной, агрессивной, не подчинявшейся законам термодинамики, распространявшейся от его тела вовне, захватывавшей предметы, воздух, сам свет.

Анна выбросила шпатель в урну и закрыла рот Тимофея. Мальчик не сопротивлялся, не помогал — просто позволил её рукам делать свою работу, оставаясь всё тем же неподвижным, отстранённым, бесконечно терпеливым существом. Она отступила на шаг и посмотрела на него целиком — на этого ребёнка, который две недели провёл в зимнем лесу и вышел оттуда с чистотой, какой не бывает у живых. На его кожу, не чувствовавшую ни холода, ни тепла. На его зрачки, реагиовавшие на свет с задержкой. На его дыхание без пара. На его слизистую, покрытую кристаллами льда.

И вдруг она поняла — с той же абсолютной, беспощадной ясностью, с какой понимала самые страшные истины в своей жизни, — что перед ней не больной. Не пациент с редкой патологией. Не жертва неизвестного науке заболевания.

Перед ней был сосуд. Пустой, вычищенный изнутри, подготовленный для чего-то иного. Его тело больше не принадлежало ему — оно было занято, аннексировано, перестроено изнутри для какой-то чуждой, нечеловеческой цели. И все эти аномалии — задержка зрачкового рефлекса, отсутствие тепла, кристаллы на слизистой — были не симптомами болезни. Они были признаками трансформации. Медленной, неотвратимой, приближающейся к своему завершению.

В коридоре послышались шаги, и через минуту заглянула Нина Петровна.

— Анна Сергеевна, рентгенолог готов. Сказал, можете вести мальчика.

— Спасибо, Нина Петровна. Поможете мне довести его до рентген-кабинета. Только...

— Анна на мгновение замялась. — Будьте осторожны. Он очень холодный.

Санитарка перекрестилась — быстро, почти незаметно, привычным движением, — и шагнула к кушетке. Вдвоём они подняли Тимофея, и Анна снова поразились тому, каким лёгким он был — невесомым, почти бесплотным, словно внутри его тела уже не осталось ничего, кроме пустоты и холода. Они повели его к двери, и холод от его плеча просачивался сквозь её халат, сквозь одежду, сквозь кожу, добираясь до того каменного комка, что поселился в груди два года назад.

В дверях она обернулась и бросила последний взгляд на смотровую: на стол с приборами, на грелку, всё ещё покрытую инеем, на плакат со скелетом, который ухмылялся ей вслед. За окном снова падал снег — беззвучный, густой, застилающий белой пеленой больничный двор. И в этой пелене ей почудилось движение — словно множество детских фигур, бледных и прозрачных, стояли в снегу и смотрели на окна больницы.

Она зажмурилась и открыла глаза. Двор был пуст. Только снег. Только холод. Только ожидание.

Ординаторская тонула в сером полумраке, когда Анна вернулась из рентген-кабинета. Она села за стол, подперев голову рукой, и уставилась на разложенные перед ней бумаги. История болезни Тимофея Леденцова лежала раскрытой, и каждая строчка, вписанная её собствен-

ной рукой, казалась теперь не медицинским документом, а страницей из дурного сна — из тех снов, что мучили её последние два года, оставляя по пробуждении лишь смутное ощущение утраты и холодную испарину на лбу.

За окном медленно угасал день. Небо оставалось всё тем же белёсым, непроницаемым, и снег всё падал и падал — беззвучный, методичный. В отделении было тихо: дети спали после обеда, медсёстры разошлись по своим делам, и только далёкий гул больничного трансформатора нарушал безмолвие.

Анна взяла ручку и перечитала написанное. «Температура тела: 34,2 °С. Пульс: 20 уд/мин. Зрачковый рефлекс: положительный, с задержкой 2–3 секунды. Слизистая ротовой полости: бледно-голубоватая, с признаками кристаллического налёта. Кожные покровы: прохладные, гладкие, без признаков обморожения. Реакция на тепло: отсутствует. Контакт с пациентом невозможен».

Она перечитала это трижды, и каждый раз слова выглядели одинаково бессмысленными. Как если бы она описывала не живого ребёнка, а неодушевлённый предмет — куклу, статую, муляж. Но Тимофей был жив. Его сердце билось. Его кровь текла. Его лёгкие наполнялись воздухом. И вместе с тем всё в нём было неправильным, чуждым, словно внутри его тела действовали иные законы — не те, что управляют жизнью всех остальных людей на этой планете.

Она откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Перед внутренним взором снова встало лицо мальчика — бледное, спокойное, с выражением вежливого ожидания. Его глаза, менявшие цвет с серого на молочно-белый. Его дыхание, не оставлявшее пара. Его слизистая, покрытая кристаллами. И грелка — та самая грелка, которую она наполняла кипятком и которая через две минуты стала холодной, как придорожный камень в январе.

Она открыла глаза и заставила себя думать как врач. Гипотермия. Первое, что приходит в голову при температуре 34,2. Но при гипотермии кожные покровы холодные и влажные, появляется мышечная дрожь, спутанность сознания, а при тяжёлой степени — брадикардия, угнетение дыхания, потеря сознания. У Тимофея не было ничего из этого. Кожа — сухая, как прохладный шёлк. Дрожи нет. Сознание не спутано — оно просто отсутствует. И он сидит с прямой спиной, в то время как любой пациент с такой температурой тела должен находиться в коме.

Шок. Травматический? Септический? Но при шоке пульс частый и слабый, дыхание учащённое, кожа липкая от пота. У Тимофея пульс редкий, но ритмичный и ровный. Дыхание редкое и поверхностное, без признаков дыхательной недостаточности. Никаких признаков инфекции, никаких травм.

Неврологическая патология? Кататонический ступор? Но при кататонии мышцы напряжены, пациент сопротивляется попыткам изменить его позу. Тимофей не сопротивлялся. Он просто не реагировал. Его тело сохраняло ту позу, которую ему придавали, но не застывало в ней — оно просто пребывало, ожидая следующей команды.

Анальгезия. Полная потеря болевой чувствительности. Анна не проверяла её специально — не позволяла врачебная этика, — но косвенные признаки были налицо. Мальчик не реагировал на прикосновения, на яркий свет, на холод, на тепло. Его нервная система либо не получала сигналов от рецепторов, либо получала, но не обрабатывала их.

И наконец, эмоции. Вернее, их полное отсутствие. Атрофия аффекта, как сказали бы психиатры. Но это была не депрессия, не аутизм, не посттравматическое расстройство. Это было что-то иное — не отсутствие эмоций, а их замещение. Как будто внутри Тимофея больше не осталось ничего человеческого. Как будто его душа — или то, что люди называют душой, — была вынута, унесена, заменена чем-то иным. Чем-то, что не испытывало ни радости, ни горя, ни страха, ни надежды. Чем-то, что просто ждало.

Анна взяла ручку и подвела черту под последней записью. Затем, в графе «Предварительный диагноз», поставила один-единственный знак — вопросительный. Жирный, чёрный,

занимающий почти всю клеточку. «Я не знаю». «Я не понимаю». «Это за пределами моих знаний».

Она перевернула страницу и на чистом обороте написала мелким, убористым почерком: «Запросить архивные истории болезни за последние 3–5 лет. Все случаи поступления детей с похожими симптомами. Особое внимание — гипотермия неясного генеза, атипичная анальгезия, контакт невозможен. Сверить с журналом регистрации приёмного покоя. Данные по пропавшим и найденным детям».

Перечитала написанное, и ей вдруг стало холодно — тем самым холодом, что не имел отношения к температуре воздуха. Запросить архивы означало спуститься в подвал. В тот самый подвал, куда Зоя велела ей не ходить. В тот самый архив, о котором она говорила с такой настойчивостью, что это больше походило на предупреждение, чем на совет.

Анна отодвинула историю болезни и встала, подошла к окну. За стеклом, на больничном дворе, снег уже покрыл землю ровным, нетронутым слоем, в котором не было ни следов, ни проплешин. Два старых тополя стояли чёрными скелетами на фоне белого неба, и пустые верёвки для белья, натянутые между ними, провисали под тяжестью налипшего снега. В этом дворе не было ни души. Больница словно вымерла, погрузившись в зимнюю спячку, из которой не всем суждено было выйти.

Она думала о Тимофее, который сейчас лежал в палате под наблюдением медсестры. О тридцати девяти детях, чьи имена были вписаны в жуткий, необъяснимый реестр. О Зое, чей сын был сороковым в этом списке. О пятне копоти над дверным косяком в своей квартире. О фотографии с белёсыми детскими глазами и полустёртой надписью «Перед первой зимой».

Она думала обо всём этом, и в её душе медленно, как кристаллы инея на костях «ледяных детей», росла уверенность. Не просто страх, не просто тревога — а холодная, беспощадная уверенность в том, что всё происходящее связано. Что тридцать девять пропавших детей, странные симптомы Тимофея, предупреждения Зои, старые легенды о Мороке — всё это части одной картины. Страшной, невероятной, невозможной с точки зрения здравого смысла, но единственно объясняющей все факты.

И чтобы увидеть эту картину целиком, ей нужно было спуститься в подвал. В архив. Туда, где, по словам Зои, хранились старые рентгеновские снимки и истории болезни. Туда, куда ей не следовало соваться. Туда, где, возможно, скрывалась разгадка — или гибель.

Анна отошла от окна и вернулась к столу. Взяла историю болезни, закрыла её и аккуратно положила в стопку других бумаг. Затем достала из ящика чистый бланк запроса — стандартную форму для получения архивных документов — и начала заполнять. Фамилия, имя, отчество. Должность. Основание: «клиническая необходимость, дифференциальная диагностика». Список запрашиваемых документов: «Истории болезни пациентов педиатрического отделения за последние пять лет с симптомами гипотермии, анальгезии, нарушения контакта. Рентгеновские снимки. Журналы регистрации приёмного покоя».

Она поставила подпись и дату. Пятнадцатое ноября. До зимнего солнцестояния оставалось чуть больше месяца. Анна не знала, почему эта дата казалась ей важной, — она просто чувствовала, что время уходит. Что песок в невидимых часах сыплется всё быстрее. Что сороковое имя в списке ждёт своего часа, и этот час неумолимо приближается.

Она сложила запрос вдвое, сунула в карман халата и вышла из ординаторской. В коридоре было пусто. Лампы дневного света гудели под потолком, и их зеленоватое свечение придавало всему вокруг болезненный, подводный оттенок. Анна прошла мимо палаты, где лежал Тимофей, и на мгновение замедлила шаг. Дверь была приоткрыта, и сквозь щель она увидела мальчика — он сидел на кровати, всё с той же прямой спиной, всё с тем же неподвижным лицом, и смотрел в окно. За окном падал снег. Тимофей смотрел на него, и в его глазах отражались не снежинки, а что-то иное. Что-то белое, далёкое, бескрайнее. Что-то, чему ещё только предстояло родиться.

Она пошла дальше. В конце коридора, возле лестницы, ведущей вниз, в вестибюль, а оттуда — в подвал, горела одинокая лампочка. Анна остановилась перед лестницей, глядя в темноту, сгущавшуюся на нижних ступенях. Где-то там, под землёй, под толщей бетона и замёрзшей почвы, лежал ответ. И она знала, что рано или поздно ей придётся туда спуститься.

Но не сегодня. Сегодня она была слишком измотана — физически и морально. Сегодня ей нужно было переварить всё, что она увидела, всё, что она узнала. Сегодня ей нужно было поговорить с Зоей. Или с бабой Нюрой, старой травницей, о которой упоминала Зоя, — той самой, что знала старые легенды и могла объяснить, что такое «Морок» и почему ему нужны сорок детских душ.

Анна развернулась и пошла обратно в ординаторскую. В кармане её халата лежал запрос на архивные документы. В голове роились вопросы, на которые не было ответов. А за окном, в сгущающихся сумерках, падал и падал снег — белый, безмолвный, бесконечный, как сама зима. Как сам холод. Как само ожидание.

И в этом ожидании, в этой тишине, Тимофей Леденцов продолжал сидеть на своей кровати, глядя в окно, и его глаза медленно, неотвратимо затягивались ледяной плёнкой, а кости, скрытые под бледной кожей, покрывались кристаллами инея — одного из сорока кирпичиков в фундаменте будущего тела Морока.

Глава 4. Спираль



Ночные дежурства в педиатрическом отделении всегда были для Анны временем особенным — не дневным, не ночным, а каким-то промежуточным, выпадающим из привычного течения часов. В областной больнице, где она работала прежде, ночи проходили под мерный писк мониторов, под приглушённый свет ламп, под шорох сестринских тапочек по линолеуму,

и в этом был свой, успокаивающий ритм — ритм жизни, продолжавшейся даже в темноте. Здесь, в Белореченской ЦРБ, ночь была иной. Она не успокаивала. Она таилась.

Анна сидела на посту медсестры — крошечном закутке между процедурной и ординаторской, отгороженном от коридора стеклянной перегородкой с окошком для передачи лекарств. На столе перед ней горела настольная лампа, бросая круг жёлтого света на раскрытый журнал дежурств, на пустую чашку из-под чая, на её собственные руки, которые она время от времени растирала, пытаясь согреть. Больничный титан на первом этаже давно остыл, и чай, заваренный в начале дежурства, успел превратиться в безвкусную, чуть тёплую жидкость. Она всё равно пила его — маленькими глотками, — потому что сам процесс создавал иллюзию тепла. Иллюзию нормальности.

Было три часа ночи — самое глухое, самое мёртвое время, когда даже самые тяжёлые больные ненадолго проваливаются в сон, а те, кто не спит, лежат тихо, глядя в потолок и считая минуты до рассвета. Анна знала это время слишком хорошо. Два года назад, после того как всё случилось, она провела много таких ночей — без сна, без мыслей, без слёз, просто сидя в пустой квартире и глядя на стену. Теперь она сидела в пустой больнице и делала то же самое.

Она заставила себя встать. Нужно было обойти палаты — стандартная процедура для дежурного врача, — и хотя в отделении сейчас лежало всего семеро детей (шестеро «обычных», как она про себя их называла, и один — особенный), обход был необходим. Не только для галочки в журнале. Ей нужно было двигаться, чтобы не заснуть. Чтобы не думать. Чтобы не вспоминать.

Анна взяла фонарик — маленький, карманный, с металлическим корпусом, — и вышла в коридор. Лампы дневного света были погашены, только дежурное освещение горело у входа в отделение, отбрасывая на стены длинные, колышущиеся тени. Коридор казался бесконечным — серый, пустой, с рядами закрытых дверей по обе стороны, и шаги Анны звучали в нём гулко и одиноко, как шаги в склепе. Она шла медленно, заглядывая в каждую палату, проверяя, как спят дети. Первая палата: Бойко Е., двенадцать лет, бронхит. Мальчик спал, свернувшись калачиком, и его дыхание было ровным, чистым. Вторая: Герасимова В., девять лет, пневмония. Девочка лежала на спине, раскинув руки, и её щёки горели болезненным румянцем. Третья, четвёртая, пятая — все мирно спали, укрытые одеялами, и их сны, какими бы они ни были, оставались человеческими.

Шестая палата была в самом конце коридора, за поворотом. Там лежал Тимофей Леденцов.

Анна приблизилась к двери и уже взялась за ручку, когда услышала звук. Она замерла, прислушиваясь. Сначала ей показалось, что это гул водопроводных труб — старые трубы в этой больнице жили своей жизнью, пели, стонали, иногда издавали странные, почти человеческие звуки. Но этот звук был иным. Он был ритмичным. Он был речью.

Из-за двери доносился шёпот. Вернее, не шёпот — тихая, приглушённая речь, как будто двое разговаривали в комнате, стараясь не разбудить спящих. Анна прижалась ухом к холодной деревянной панели и затаила дыхание. Первый голос она узнала сразу — это был голос Тимофея. Высокий, детский, но лишённый всякой интонации, какой-то плоский, как звук, записанный на старую магнитную ленту. Он говорил медленно, монотонно, делая равные паузы между словами.

— ...да... готовы... ждут... скоро... зима... близко...

Анна почувствовала, как волосы на затылке зашевелились. Она хотела открыть дверь, но что-то удержало её — не страх, нет, а какое-то оцепенение, парализовавшее мышцы. И в ту же секунду заговорил второй голос.

Он был низким. Таким низким, что Анна сначала не столько услышала его, сколько почувствовала — как вибрацию, проходящую сквозь стену, сквозь дверь, сквозь её собственное тело. Этот голос звучал не из палаты. Он звучал снизу. Из-под пола. Из-под земли. Он

был глубинным, древним, лишённым всего человеческого — как если бы заговорил камень, или лёд, или сама тьма. Слова в нём различались с трудом: они были растянуты, искажены, как звук, проходящий сквозь толщу воды, и каждое из них отдавалось в костях Анны низкой, гудящей болью.

— ...сорок... последний... имя... скоро... моё...

Она отшатнулась от двери. Сердце колотилось где-то в горле, ладони вспотели, несмотря на холод, и фонарик в её руке дрожал, отбрасывая на стены пляшущий, безумный свет. Она стояла в пустом коридоре, одна, и слушала, как за дверью, в палате номер шесть, девятилетний мальчик разговаривает с кем-то, кого не могло быть. С кем-то, чей голос поднимался из-под пола, из-под фундамента больницы, из глубин земли, на которой стоял этот проклятый город.

Анна попыталась взять себя в руки. Ей случалось сталкиваться с галлюцинациями у пациентов — лихорадочный бред, наркотический делирий, психические расстройства, — и она знала, что иногда галлюцинации могут быть пугающе реальными. Но Тимофей не был в лихорадке. Его температура была ниже нормы. Он не принимал наркотиков. Его психика была... пуста. И этот второй голос — она слышала его не только ушами. Она слышала его всем телом.

Она снова прижалась к двери. Голоса продолжали переговариваться, и теперь она различала больше слов. Тимофей говорил: «...да... холод... иду... веду...», а второй голос отвечал: «...сорок... круг... моё... тело...». Это не было похоже на бред. Это было похоже на разговор. На переговоры. На обмен информацией между двумя сознаниями, одно из которых принадлежало ребёнку, а второе — чему-то, у чего не было имени.

Анна глубоко вздохнула и рывком открыла дверь.

В палате было темно — только бледный свет уличного фонаря, пробивавшийся сквозь замёрзшее окно, ложился на пол косыми, перекрещенными тенями. Тимофей сидел на кровати. Он не лежал, не спал — он сидел, выпрямив спину, положив руки на колени, и его глаза были открыты. Они блеснули в темноте — не отражённым светом, а каким-то собственным, внутренним свечением, бледным и холодным, как свет далёкой звезды. Его губы ещё шевелились, беззвучно проговаривая последние слова, но когда Анна вошла, они замерли. Тимофей замолчал.

Второй голос тоже умолк. Но прежде чем он исчез, Анна услышала его в последний раз — уже не из-под пола, а словно внутри собственной головы, прямо в центре черепа: единственное слово, произнесённое с интонацией, похожей на удовлетворение.

«Жди».

И наступила тишина. Глубокая, звенящая, абсолютная тишина, в которой Анна слышала только стук собственного сердца. Она стояла на пороге палаты, держась за дверной косяк, и смотрела на Тимофея, а Тимофей смотрел на неё — вернее, сквозь неё, как он смотрел всегда. Но теперь в его глазах, в глубине расширенных зрачков, Анна видела нечто новое. Не просто пустоту. Не просто отсутствие. Присутствие. Кто-то был там. Кто-то смотрел на неё изнутри мальчика, как смотрят из окна пустого дома — пристально, не мигая, с бесконечным терпением.

Она включила фонарик. Луч света ударил в лицо Тимофея, и на мгновение его радужка снова стала молочно-белой — той самой белизной, которую Анна уже видела днём, но теперь она казалась ярче, насыщеннее, словно процесс, начавшийся внутри мальчика, продвинулся ещё на шаг. Затем белизна отступила, и глаза снова стали серо-голубыми — пустыми, спокойными, ничего не выражающими.

— Тимофей, — позвала Анна, и её голос прозвучал громче, чем она рассчитывала. — С кем ты разговаривал?

Мальчик не ответил. Он смотрел прямо перед собой, и его губы, только что шевелившиеся в беззвучном разговоре, были плотно сжаты. На его лице застыло всё то же выражение вежливого ожидания — вежливого, терпеливого, бесконечно чуждого.

Анна подошла ближе, опустилась на корточки перед кроватью и взяла его за руку. Кожа была холодной — холоднее, чем днём, — и на ощупь напоминала не шёлк, а что-то более твёрдое, более гладкое. Лёд? Нет, пока ещё не лёд. Но что-то, что находилось на полпути между плотью и льдом. Она сжала его пальцы, пытаясь достучаться, пробиться сквозь эту ледяную стену, отделявшую его от мира.

— Тимофей, если ты меня слышишь, моргни. Пожалуйста. Просто моргни.

Прошла секунда. Другая. Третья. И мальчик моргнул. Один раз. Медленно, плавно, словно движение век требовало от него огромных усилий. Но он моргнул. И Анна почувствовала, как к горлу подступает ком — не страх, не ужас, а что-то иное, похожее на надежду. Где-то там, внутри этого ледяного кокона, ещё оставался Тимофей Леденцов. Настоящий Тимофей. И он слышал её.

Она поднялась и оглядела палату. Всё было на своих местах: кровать, тумбочка, стул у окна. Но на полу, прямо под кроватью, Анна заметила то, чего не было днём. Тонкий слой инея — того самого, кристаллического, не тающего, — покрывал линолеум вокруг ножек кровати. И иней этот образовывал узор — не случайный, не хаотичный, а направленный. Он тянулся от кровати к центру комнаты, где сходилась в одной точке, а затем обрывался, словно тот, кто стоял там, внезапно исчез. Или ушёл под пол.

Анна постояла ещё минуту, глядя на этот след, на этот иней, на мальчика, сидевшего на кровати с прямой спиной и неподвижным лицом. Затем она медленно вышла из палаты и закрыла за собой дверь. В коридоре было всё так же тихо — только гул лампы и стук её собственного сердца. Она прислонилась к стене и закрыла глаза. Перед внутренним взором стоял образ: два голоса, переплетающиеся в темноте, — один детский, монотонный, другой низкий, вибрирующий, поднимающийся из глубин. И слово, которое прозвучало у неё в голове: «Жди».

Она не знала, сколько простояла так — минуту, пять, десять. Очнулась от того, что замёрзли пальцы. Открыла глаза, посмотрела на свои руки — кончики снова побелели, словно она держала их в ледяной воде. Анна растёрла их и медленно пошла обратно на пост.

За спиной у неё, в палате номер шесть, Тимофей Леденцов сидел на кровати и смотрел в темноту. Его губы беззвучно шевелились, повторяя слова, которые не предназначались для человеческих ушей. А под полом, в бетонных недрах больницы, медленно, неотвратимо расползался иней — от палаты к палате, от фундамента к стенам, от стен к крыше, — словно корни невидимого дерева, питавшегося холодом и ожиданием. И где-то в этих корнях, в глубине, в темноте, спало или бодрствовало то, что называло себя Мороком. То, что считало дни. То, что ждало сороковую жертву.

Анна села за стол на посту и открыла журнал дежурств. Рука дрожала, и строчки, которые она выводила, были неровными, прыгающими. «Обход 03:00. Пациент Леденцов Т. не спит. Сидит на кровати. Контакт затруднён. Отмечен разговор с неустановленным лицом (галлюцинация?). В палате обнаружен иней на полу. Рекомендовано: усилить наблюдение». Она отложила ручку и долго смотрела на написанное. Затем дописала в скобках, мелким, почти неразборчивым почерком: «Кто ты?» Вопрос был адресован не Тимофею. И ответ на него лежал где-то в подвальном архиве, среди пыльных папок и старых рентгеновских снимков. Ответ ждал её. Ждал, как ждал всего в нескольких метрах под ней тот, чей голос она только что слышала.

Усидеть на посту не получилось. Что-то тянуло её обратно — не просто профессиональный долг, не просто тревога за пациента, а иное, более тёмное чувство, замешанное на том же липком, иррациональном страхе, который она испытала, впервые услышав второй голос. Она попыталась убедить себя, что ей показалось. Что низкий, вибрирующий звук был всего лишь гудением труб, а шёпот — игрой воображения, разыгравшегося на фоне недосыпа и нервного напряжения. Но где-то глубоко внутри, в той части души, что не подчинялась ни логике, ни медицинскому образованию, она знала: это не трубы. И воображение тут ни при чём.

Она встала из-за стола, снова взяла фонарик и вышла в коридор. Дежурное освещение на стенах дрожало, как пламя свечи на сквозняке, и тени, отбрасываемые пустыми каталками и штативами для капельниц, казались длиннее, чем должны были быть. Анна шла медленно, стараясь ступать бесшумно, и её тапочки почти не издавали звука на холодном линолеуме. Миновала первые три палаты, палату с девочкой Герасимовой, дверь процедурной — и остановилась у поворота.

Дверь в палату Тимофея была приоткрыта. Не широко — всего на несколько сантиметров, — но достаточно, чтобы сквозь щель пробивалась узкая полоска темноты, более густой и плотной, чем темнота в коридоре. Анна замерла, не дойдя до двери пары шагов. Она не помнила, оставляла ли дверь открытой, когда уходила. Ей казалось, что она плотно закрыла её за собой. Но теперь створка была приоткрыта, и из неё не доносилось ни звука — только та же глубокая, звенящая тишина, что наполняла весь госпиталь.

И всё же что-то изменилось. Анна чувствовала это не слухом, а чем-то иным — кожей, костями, тем самым внутренним барометром, который просыпается в человеке, когда рядом находится нечто чуждое. Воздух в коридоре стал холоднее, словно сгустился, приобрёл вес, и каждый вдох давался с лёгким усилием, будто лёгкие наполняла не привычная смесь газов, а ледяная вода. Анна сделала ещё один шаг к двери — и остановилась снова.

Изнутри донёсся звук.

Это не было словом — во всяком случае, не словом, произнесённым человеческим ртом. Низкий, рокочущий тон, похожий на гудение далёкого трансформатора, но модулированный, осмысленный, разделённый на слоги, которые язык Анны отказывался распознавать. Звук шёл не из палаты. Он шёл из стены. Из глухой бетонной стены, к которой была придвинута кровать Тимофея.

Анна прижалась плечом к дверному косяку и осторожно, на миллиметр за миллиметром, расширила щель. Ей нужно было увидеть. Ей нужно было знать. Даже если знание это окажется страшнее неведения — а она уже догадывалась, что так и будет, — она не могла отступить.

Палата тонула в полумраке. Уличный фонарь за окном давал всё тот же рассеянный, молочный свет, но теперь он казался тусклее, словно мороз на стекле стал толще и поглощал большую его часть. Тимофей сидел на кровати. Он не лежал — он именно сидел, выпрямив спину, как и раньше, но его поза изменилась. Голова мальчика была повернута к стене — к глухой, лишённой окон стене, отделявшей палату от больничного холла. Он смотрел на серый бетон так, словно видел сквозь него, словно там, за слоем штукатурки и арматуры, находилось нечто, доступное только его ледяным глазам.

Губы Тимофея двигались. Беззвучно. Анна видела, как они складываются в слова, как шевелятся мышцы вокруг рта, как подёргивается кадык, но из горла мальчика не вырывалось ни звука. Он говорил в тишине, в пустоте, в каком-то ином регистре, недоступном человеческому слуху. И ему отвечали.

Шёпот доносился прямо из стены. Он просачивался сквозь бетон, как вода просачивается сквозь трещины в дамбе, — медленно, неотвратно, с холодным, влажным упорством. Это не был голос в обычном понимании. Это была вибрация, которая зарождалась где-то глубоко в недрах здания, под фундаментом, под землёй, и поднималась вверх, проходя сквозь бетонные блоки, сквозь арматуру, сквозь штукатурку, чтобы достичь ушей мальчика — и, теперь, её собственных ушей. Анна чувствовала эту вибрацию подошвами ног: пол под ней слабо дрожал, и дрожь эта была ритмичной, почти музыкальной, как если бы некто огромный, погребённый под госпиталем, размеренно ударял в гигантский барабан.

Медицинский шкаф, стоявший в углу палаты, начал вибрировать. Поначалу едва заметно — лёгкое дрожание стеклянных дверок, за которыми тускло поблёскивали пузырьки с лекарствами, бутылки с физраствором, упаковки со стерильными перчатками. Но с каждой секундой вибрация усиливалась. Стекло задребезжало — тихо, жалобно, как будто жаловалось на то,

что ему приходится терпеть. Один из пузырьков, стоявших на верхней полке, сдвинулся на миллиметр, затем ещё на один, и Анна с ужасом представила, как он падает и разбивается, и этот звук будит всё отделение, и тогда ей придётся объяснять то, что она видит сейчас, — то, чему не было объяснения.

Но пузырёк не упал. Вибрация достигла пика и замерла на нём, удерживаясь на одной частоте — низкой, глубокой, проникающей в самые кости, — и в этом гудении Анна внезапно начала различать слова. Не смысл — смысл ускользал от неё, как смысл песни на незнакомом языке, — но сами звуки, слоги, интонации. Это была речь. Древняя, чужая, лишённая гласных, больше похожая на скрежет льда о лёд, чем на человеческий голос. Она исходила из стены, и мальчик слушал её, и его губы беззвучно отвечали на том же языке.

Анна стояла, вцепившись в дверной косяк, и не могла заставить себя ни войти, ни отступить. Её парализовало — тем самым холодным оцепенением, которое, как она читала, охватывает жертву перед лицом неотвратимой опасности. Где-то в глубине сознания голос разума твердил, что нужно уйти, позвать кого-то — санитарку, фельдшера, да хоть сторожа с первого этажа, — что нельзя оставаться здесь одной. Но тело не слушалось. Оно застыло, пригвождённое к месту тем же холодом, что сковал пальцы, что покрыл инеем грелку, что прорастал сквозь кости Тимофея.

Мальчик медленно, очень медленно повернул голову. Теперь он смотрел на дверь — на щель, в которую заглядывала Анна. Его глаза в темноте светились — тем же бледным, молочно-белым светом, что она видела раньше, но теперь этот свет был ярче, насыщеннее. Он не освещал лица; он просто был — два пятна холодного сияния в темноте, два окна в пустоту. И в этой пустоте Анна увидела движение. Что-то шевельнулось там, за зрачками, — что-то огромное и бесформенное, и ей показалось, что это что-то смотрит на неё. Не сквозь мальчика. Вместо мальчика.

Шёпот из стены внезапно смолк. Вибрация прекратилась, и медицинский шкаф замер, лишь одно стекло ещё дрожало несколько мгновений, издавая тонкий, умирающий звон. Тимофей смотрел на Анну, и его губы беззвучно сложились в слово — последнее слово перед тем, как тишина снова поглотила всё. Анна не услышала его, но она поняла. Она не знала, как — может быть, это слово было адресовано не ей, но эхо его достигло её сознания, как достигает поверхности пруда камень, брошенный с большой высоты.

«Сорок».

Она отдёргнулась от двери, как от ожога. Спина ударилась о стену коридора, и фонарик выпал из ослабевших пальцев, покатился по линолеуму, рисуя на стенах безумные, скачущие тени. Анна сползла по стене вниз, на корточки, и зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Сердце колотилось так, что его удары, казалось, сотрясали всё тело, и каждый удар отдавался болью в висках. Она не могла отвести взгляд от щели в двери — от этой узкой полоски тьмы, за которой сидел мальчик и слушал голос из стены. Слушал, как что-то древнее и чуждое говорило с ним на языке льда и камня.

Прошло несколько минут — или, может быть, всего несколько секунд, Анна не могла определить, — прежде чем она смогла пошевелиться. Она подобрала фонарик с пола и медленно, держась за стену, поднялась на ноги. Дверь в палату она закрыла — осторожно, стараясь не шуметь, хотя теперь это казалось бессмысленным: то, что было внутри, знало о её присутствии. Знал о нём и Тимофей. Знал и, может быть, даже хотел, чтобы она увидела.

Она вернулась на пост, села за стол и долго смотрела на свои руки. Они дрожали — не от холода, а от того глубокого, внутреннего озноба, который не проходит ни от грелки, ни от горячего чая. Анна взяла ручку и попыталась записать увиденное в журнал, но слова не шли. Она не могла описать то, что видела, — не потому, что не хватало терминов, а потому, что каждый термин, который приходил ей в голову, звучал как насмешка над реальностью. «Пациент разговаривает со стеной. Стена отвечает. Медицинский шкаф вибрирует в такт голосу. Глаза

светятся». Она отложила ручку и закрыла лицо руками. Завтра она сделает то, что должна была сделать с самого начала. Завтра она спустится в подвал. В архив. А сейчас ей оставалось только сидеть и ждать рассвета — в тишине, нарушаемой лишь гулом лампы и далёким, едва различимым звоном стекла, которое всё ещё вибрировало где-то в глубине палаты номер шесть.

Анна заставила себя подняться. Руки всё ещё дрожали, колени подгибались, а в ушах стоял тот низкий, вибрирующий гул, который, казалось, не исчез вместе с голосом, а просто затаился где-то на границе слышимости, ожидая, когда она снова останется одна в темноте. Но она не могла больше сидеть сложа руки. Не могла делать вид, что ничего не происходит. Не могла позволить страху парализовать её — не теперь, когда она знала, что в палате номер шесть творится нечто, выходящее далеко за пределы её медицинской компетенции.

Она встала, опираясь на край стола, и на нетвёрдых ногах вышла из поста медсестры. Фонарик она больше не включала — свет от дежурных ламп, льющийся из дальнего конца коридора, был тусклым, но достаточным, чтобы различать очертания предметов. Она миновала закрытые двери палат, тёмные провалы дверных проёмов, штативы для капельниц, застывшие в коридоре, как безмолвные часовые, и остановилась у двери Тимофея. Та всё ещё была приоткрыта — узкая щель, из которой сочился холод, густой и почти осязаемый, как дыхание морозильной камеры. Анна положила ладонь на дверную ручку. Металл обжёг её ледяным прикосновением — тем самым голодным холодом, который она уже научилась узнавать, — но она не отдернула руку.

Она вошла.

На мгновение замерла на пороге, давая глазам привыкнуть к темноте. Уличный фонарь за окном всё ещё горел, но его свет, пробивавшийся сквозь замёрзшее стекло, был тусклым, болезненным, и он почти не рассеивал мрак, сгустившийся в углах палаты. Тимофей сидел на кровати — силуэт с прямой спиной, неподвижный, как изваяние. Его голова была повернута к стене, и Анна не видела его лица, но видела плечи, руки, лежащие на коленях, босые ступни, свисающие с края кровати. Он не двигался. Он не дышал — во всяком случае, она не замечала ни малейшего движения грудной клетки. Но он был здесь. Он ждал.

Анна нашарила рукой выключатель на стене — старый, советский, с круглой клавишей из пожелтевшего пластика, — и, не давая себе времени на раздумья, нажала.

Верхний свет вспыхнул и залил палату резким, беспощадным сиянием люминесцентных ламп. На мгновение всё вокруг побелело — стены, кровать, лицо мальчика, — а затем свет стабилизировался, и мир снова обрёл очертания. Анна зажмурилась от неожиданной яркости, а когда открыла глаза, первое, что она заметила, была тишина. Абсолютная, глубокая тишина, какой не было здесь несколько секунд назад. Шёпот из стены оборвался мгновенно — не затих, не удалился, а именно оборвался, как обрывается запись на магнитной ленте, когда нажимаешь кнопку «стоп». Никакого эха. Никакого затухания. Просто — раз! — и тишина. Словно тот, кто говорил, был застигнут врасплох.

И в этой тишине Тимофей начал поворачивать голову.

Движение было медленным — неестественно, мучительно медленным. Анна видела, как напрягаются мышцы его шеи, как поворачиваются позвонки, и в этом зрелище было что-то глубоко неправильное, механическое, словно внутри мальчика работал не живой организм, а какой-то заводной механизм, который требовал времени, чтобы изменить положение деталей. Голова Тимофея поворачивалась градус за градусом, и каждый градус давался с усилием — не физическим усилием (на его лице не дрогнул ни один мускул), а каким-то иным, словно он преодолевал не инерцию плоти, а сопротивление самой реальности.

Наконец его лицо оказалось обращённым к ней. Глаза Тимофея были открыты. Они смотрели на Анну — или сквозь неё — тем самым отсутствующим взглядом, который она уже видела днём в смотровой. Ничего не выражающий, пустой, но не бессмысленный. Он был как окно в комнату, из которой только что ушли все жильцы, но мебель ещё осталась на своих

местах, и где-то в глубине ещё горел свет — холодный, неподвижный, безжизненный. В этом взгляде не было ни страха, ни любопытства, ни узнавания. Только бесконечное, терпеливое ожидание.

— Тимофей, — позвала Анна, и её голос прозвучал громко, слишком громко в этой внезапной тишине. — Тимофей, ты слышишь меня?

Мальчик смотрел на неё. Его губы, ещё несколько секунд назад шевелившиеся в беззвучном разговоре, были плотно сжаты. На их бледной поверхности Анна заметила тонкую, едва заметную плёнку — ту самую, которую уже видела на его слизистой, на его глазном дне, на грелке. Иней. Он проступал сквозь поры кожи, как проступает роса на траве в холодное утро. Только это была не роса. Это был лёд.

Она сделала шаг вперёд, затем ещё один. Тимофей не двигался. Его взгляд оставался прикованным к ней — пустой, но почему-то выдерживать его было труднее, чем любой другой взгляд, с которым Анне приходилось сталкиваться в её практике. В нём не было угрозы. Не было агрессии. Но было что-то иное — что-то, от чего мороз пробежал по коже быстрее, чем от самого лютого холода. Этот взгляд не принадлежал ребёнку. Он принадлежал тому, что смотрело через ребёнка, — и это «что-то» знало о ней. Знал, кто она. Знал, зачем она здесь. И ждал.

Анна обвела палату взглядом, проверяя, всё ли на месте. Кровать, тумбочка, стул, медицинский шкаф. Шкаф больше не вибрировал — он стоял неподвижно, и стеклянные дверцы ровно отражали свет ламп. Пузырьки с лекарствами стояли на полках в том же порядке, что и днём, — ни один не сдвинулся, ни один не упал. Если бы не ледяной холод, пробиравший до костей, если бы не иней на губах мальчика, можно было бы подумать, что всё увиденное ею в темноте было сном. Галлюцинацией. Плодом воображения.

Но потом она посмотрела на батарею.

Батарея под окном — старая, чугунная, выкрашенная серебрянкой, — была покрыта инеем. Не тонким слоем изморози, какой бывает на окнах в морозное утро, а толстой, плотной ледяной коркой, которая облепила каждое ребро, каждую секцию, каждый изгиб металла. Иней был кристаллическим, многослойным, с длинными иглами, торчащими во все стороны, как иглы на замёрзшем фонтане на центральной площади. Он искрился в свете ламп, переливался, и от него исходил пар — не от тепла, а от холода, от того самого жадного, агрессивного холода, который вытягивал тепло из всего, к чему прикасался.

Анна подошла ближе. Протянула руку к батарее и тут же отдернула — даже на расстоянии нескольких сантиметров холод, исходивший от неё, был почти невыносимым. Она коснулась металла кончиками пальцев — и почувствовала, как кожа мгновенно прилипла к ледяной поверхности. Ей пришлось приложить усилие, чтобы отдернуть руку, и на подушечках пальцев остался след — белый, обмороженный, с микроскопическими кристалликами, вьёвшимися в кожу. Она прижала пальцы к губам, пытаясь согреть их дыханием, но дыхание не приносило тепла. Оно само было холодным.

Отопление работало. Она знала это точно, потому что утром проверяла батареи во всём отделении. Чугунные секции должны были быть горячими — или, по крайней мере, тёплыми, — потому что котельная больницы топилась круглосуточно, и в этом году, как сказал главврач, запас угля был сделан с запасом. Но батарея под окном была холоднее льда. Холоднее снега. Холоднее всего, что Анна когда-либо чувствовала в своей жизни. И этот холод шёл не снаружи. Он шёл изнутри — из самой глубины металла, из самой глубины стен, из самой глубины земли, на которой стояла эта больница.

Она повернулась к Тимофею. Мальчик всё так же сидел на кровати, и его глаза следили за ней — или не за ней, а за чем-то, что двигалось вместе с ней, что висело над её плечом, что дышало ей в затылок. Анна инстинктивно обернулась — за спиной никого не было. Только

стена. Только дверь, оставшаяся открытой. Только пустой коридор, в котором дрожало дежурное освещение.

— С кем ты говорил? — спросила она, снова поворачиваясь к мальчику. Её голос звучал требовательно, почти жёстко — врач, допрашивающий пациента, а не испуганная женщина, столкнувшаяся с необъяснимым. — Кто был здесь, Тимофей? Кто говорил с тобой из стены?

Тишина. Мальчик не отвечал. Его глаза были пусты, как и прежде, но теперь Анне показалось — или она хотела, чтобы показалось? — что в их глубине мелькнула тень. Не света, не цвета, а чего-то иного. Чего-то, что пряталось за зрачками и теперь, когда она включила свет, отступило глубже, в те области его сознания, куда не проникал ни один луч.

Анна опустила на корточки перед кроватью, так, чтобы её лицо оказалось на одном уровне с его лицом. Она взяла его за руку — холодную, безжизненную, покрытую тонким слоем инея, — и сжала её, пытаясь достучаться, пробиться, растопить эту ледяную стену.

— Тимофей, — сказала она тихо, почти шёпотом. — Я знаю, что ты там. Я знаю, что ты где-то внутри. Пожалуйста. Пожалуйста, вернись. Твоя мама ждёт тебя. Ты ей нужен. Ты слышишь меня?

На мгновение — на одно-единственное, ускользающее мгновение — ей показалось, что его пальцы дрогнули. Что мышцы его лица расслабились, и в пустых глазах мелькнуло что-то человеческое. Боль. Или страх. Или надежда. Что-то, что принадлежало не Мороку, не холоду, не пустоте, а самому Тимофею — девятилетнему мальчику, который две недели провёл в зимнем лесу и вернулся оттуда с чистотой, какой не бывает у живых. Но мгновение прошло, и лицо его снова стало маской — бледной, неподвижной, ничего не выражающей.

Анна отпустила его руку и выпрямилась. Постояла так несколько секунд, глядя на мальчика, на иней, на батарею, на след от её собственных пальцев, оставшийся на ледяной поверхности чугуна. Затем медленно вышла из палаты и закрыла за собой дверь. В коридоре было тихо. Только гул лампы. Только её собственное дыхание, вырывавшееся изо рта облачками пара — потому что в отделении становилось всё холоднее, несмотря на работающее отопление. Только далёкий, едва различимый звон стекла в медицинском шкафу, который, казалось, ещё помнил вибрацию голоса из стены.

Анна прислонилась спиной к холодной стене коридора и закрыла глаза. Завтра. Завтра она спустится в подвал. Завтра она найдёт архив. Завтра она получит ответы на свои вопросы — или, по крайней мере, попытается их получить. А сейчас ей оставалось только ждать рассвета и молиться о том, чтобы он наступил быстрее. Чтобы ночь закончилась. Чтобы холод отступил. Чтобы голос из стены больше не заговорил.

Но где-то в глубине души она знала: он заговорит. Обязательно заговорит. Потому что в Белореченске ночи были долгими, а рассвет — иллюзией. И Морок не спал. Он ждал. И время его было близко.

Анна ещё несколько секунд стояла посреди палаты, не в силах отвести взгляд от батареи. Иней на чугунных рёбрах искрился под светом лампы, и в этом искрении было что-то насмешливое — словно сам холод праздновал свою маленькую победу над законами физики, над отоплением, над человеческими попытками сохранить тепло. Она растёрла обмороженные пальцы, всё ещё ощущая на коже то место, которым коснулась металла, и заставила себя думать рационально. Если батарея покрыта льдом изнутри, значит, где-то должен быть сквозняк. Открытое окно, трещина в раме, неплотно закрытая форточка — что-то, что впускает морозный воздух с улицы и позволяет ему концентрироваться на самой холодной поверхности в комнате.

Это объяснение было слабым, почти жалким — она понимала это сама. Никакой сквозняк не мог покрыть батарею толстым слоем кристаллического инея, пока остальные предметы в палате оставались лишь прохладными. Никакой сквозняк не мог заставить воду внутри грелки замёрзнуть за две минуты. Но Анна цеплялась за эти объяснения, как утопающий цепляется

за соломинку, потому что альтернатива была слишком страшной, чтобы принять её сейчас, в три часа ночи, в пустой больнице, наедине с ребёнком, который разговаривал со стеной.

Она повернулась к окну. Окно было старым, деревянным, с двойными рамами и слоем ваты, проложенной между ними ещё в советские времена. Форточка была закрыта — Анна видела задвижку, опущенную до упора, и полоску примерзшего к раме уплотнителя. Никакого сквозняка. Никакой трещины. Окно было герметичным, насколько вообще может быть герметичным окно в районной больнице, построенной полвека назад.

Она сделала шаг к окну, затем ещё один. Свет лампы падал на стекло под углом, и поначалу Анна не видела ничего, кроме собственного отражения — бледного, осунувшегося, с тёмными кругами под глазами, — и смутных очертаний больничного двора за стеклом. Но чем ближе она подходила, тем яснее проступало на стекле нечто иное. Нечто, что не было ни отражением, ни тенью.

Узор.

Она остановилась в полушаге от окна и затаила дыхание. На внутренней стороне стекла — на той самой поверхности, которая выходила в палату, в тепло, к обогревателю, к человеческому миру, — был нарисован инеем узор. Он не был случайным. В нём не было хаотичной красоты морозных разводов, тех папоротников и звёзд, что рисует на окнах обычный зимний холод. Этот узор был геометрически точным, намеренным, и состоял он из отпечатков. Человеческих ладоней.

Детских ладоней.

Анна смотрела на них, и её собственное отражение в стекле казалось теперь чужим, наложенным на эти следы, как калька накладывается на рисунок. Ладони были маленькими — размером с ладонь пятилетнего или, может, семилетнего ребёнка. Они были прижаты к стеклу изнутри, со стороны палаты, и оставили на нём тончайшие ледяные линии, повторявшие каждый изгиб, каждую складку, каждую подушечку крошечных пальцев. Линии были настолько тонкими, что казались прочерченными иглой, и в свете лампы они мерцали, переливались, как серебряные нити на тёмном бархате.

Она пересчитала отпечатки. Пять. Шесть. Восемь. Они располагались на разной высоте — одни на уровне лица взрослого человека, другие ниже, там, куда мог дотянуться ребёнок, встав на цыпочки. Некоторые отпечатки были полными — вся ладонь, с растопыренными пальцами, — другие частичными: только кончики пальцев, только ребро ладони, словно дети прикасались к стеклу в разное время и с разной степенью отчаяния. И все они были покрыты кристаллической изморозью, которая не таяла, не испарялась, не реагировала на тепло, всё ещё сохранявшееся в воздухе палаты.

Анна медленно, словно во сне, подняла свою правую руку и приложила ладонь к стеклу — рядом с одним из детских отпечатков, самым чётким, самым свежим. Её ладонь была больше, шире, и на фоне тонких, почти прозрачных линий она казалась грубой, материальной, чуждой. Но в тот момент, когда её кожа коснулась стекла, Анна почувствовала холод. Не тот холод, что исходит от зимнего окна, не тот, что можно ощутить, прикоснувшись к стеклу в морозный день. Нет. Этот холод был направленным — он шёл не от всего стекла, а именно от ледяного отпечатка, как будто сам узор источал его, изливал наружу, в её ладонь. Он проник сквозь кожу мгновенно, как игла, и Анна почувствовала, как немеют пальцы — сначала кончики, затем фаланги, затем вся кисть до запястья. Холод поднимался по руке, как ртуть по стеклянной трубке, но в обратном направлении — не расширяясь, а сжимая, сковывая, оставлявая кровь.

Она попыталась отдернуть руку, но ладонь прилипла к стеклу. Не примёрзла — до этого было ещё далеко, — а именно прилипла, словно ледяной узор держал её, не желая отпускать. Анна рванулась, чувствуя, как кожа натягивается, как тонкая плёнка льда, образовавшаяся между её ладонью и стеклом, сопротивляется, не хочет рваться. Затем раздался тихий треск

— такой звук издаёт тонкий лёд, когда на него наступаешь, — и её рука освободилась. Она отшатнулась от окна, прижимая онемевшую ладонь к груди.

На стекле остался ещё один отпечаток. Её собственный.

Он был больше, чем детские, и контуры его были грубее, но уже через несколько секунд после того, как Анна отдернула руку, по краям этого нового отпечатка начал проступать иней. Он рос, расползался, повторяя линии её ладони, её пальцев, её судьбы, и Анна с ужасом поняла, что узор на стекле принимает её. Запечатлевает. Записывает в свой ледяной архив — рядом с теми, кто был здесь до неё.

Она посмотрела на свою ладонь. Кожа была белой, как бумага, и на ней, в точности повторяя линии отпечатка на стекле, проступали тонкие, серебристые нити — иней, который проник под кожу, в капилляры, в ткани. Он не таял. Он оставался там, пульсируя слабым, едва заметным холодом, и Анна знала, что он теперь часть её. Что эта метка останется с ней — возможно, навсегда.

Она подняла глаза. Тимофей сидел на кровати всё в той же позе, но теперь его голова была снова повернута к окну. Его губы беззвучно шевелились, и Анна вдруг поняла, что он не разговаривает с тем, что было в стене. Он разговаривает с теми, кто оставил отпечатки на стекле. С тридцатью девятью детьми. С теми, кто уже стал частью Морока. С теми, чьи кости покрыты инеем, а души — пустотой. И теперь, глядя на свою собственную ладонь, на проступающий на ней ледяной узор, Анна впервые подумала о том, что и она сама, возможно, уже вписана в этот список. Что и её имя может стать сороковым — или сорок первым. Что Морок не различает своих жертв по возрасту.

Она попятилась к двери, не сводя глаз с отпечатков на стекле. Их стало больше — или ей это только казалось? Она не могла сказать точно. Но теперь, в дрожащем свете лампы, они выглядели как безмолвный хор — десятки детских ладоней, прижатых к стеклу изнутри, умоляющих, просящих, зовущих. Или не умоляющих. Может быть, они не просили о помощи. Может быть, они заманивали. Может быть, они были не следами жертв, а знаками присутствия. Напоминанием о том, что холод уже внутри. Что стены этой больницы, этого города, этого мира тоньше, чем кажется. И что за ними — за тонкой плёнкой стекла, за слоем штукатурки, за хрупкой оболочкой реальности — ждёт то, что не имеет имени.

Анна вышла из палаты, и на этот раз она не стала закрывать дверь. Она оставила её открытой — настежь, — словно это могло что-то изменить, словно свет из коридора мог разогнать ледяные узоры, словно человеческое присутствие могло противостоять тому, что жило в стенах. Но, уходя, она знала, что это не так. Она знала, что узор на стекле останется там и утром, и через неделю, и через месяц. Что он будет расти, пополняясь новыми отпечатками, пока не заполнит всё стекло. Пока не заполнит всё окно. Пока не заполнит весь мир. И где-то глубоко внутри, там, где ещё теплилась надежда, она услышала тихий, едва различимый шёпот — не из стены, не из-под пола, а из собственной памяти. Шёпот, который повторял одно и то же слово. «Сорок». «Сорок». «Сорок». И она не знала, было ли это предупреждением или приглашением.

Она сделала несколько шагов по коридору, когда холод, пробравшийся под кожу правой ладони, внезапно сменился чем-то иным — не теплом, нет, но странным, покалывающим онемением, которое поднималось от запястья к локтю, словно рука медленно засыпала. Она остановилась, поднесла ладонь к свету дежурной лампы и увидела, что серебристые линии инея, проступившие на коже, стали глубже. Теперь они напоминали не поверхностный налёт, а тонкие шрамы — белёсые, блестящие, вьёвшиеся в самую ткань. Она сжала пальцы в кулак и разжала снова. Движение давалось с трудом, словно суставы смазали не синовиальной жидкостью, а ледяной крошкой.

И в этот момент она почувствовала, что на неё смотрят.

Это было не физическое ощущение — не звук, не дуновение, не тень. Это было древнее, почти животное чувство, которое просыпается в человеке, когда он становится объектом чьего-то пристального, неотрывного внимания. Анна медленно, очень медленно обернулась.

Тимофей стоял в дверном проёме палаты.

Он был босым. Его ступни — бледные, с голубоватыми прожилками вен — стояли на линолеуме, покрытом тонкой плёнкой инея, который, как теперь видела Анна, расплзался из палаты в коридор, словно корни невидимого дерева. Мальчик не вздрагивал. Не переминался с ноги на ногу. Не поджимал пальцы. Он стоял на ледяном полу так же спокойно, как стоял бы на тёплом ковре в собственной гостиной. И смотрел.

Его взгляд был устремлён не на неё. Он смотрел мимо Анны, поверх её плеча, в дальний конец коридора, где находилось окно, выходящее на больничный двор. Там, за стеклом, в свете одинокого фонаря, по-прежнему падал снег — густой, беззвучный, завораживающий. Снежинки кружились в медленном, гипнотическом танце, и в их движении не было ни ветра, ни хаоса, ни случайности. Только ритм. Только порядок. Только бесконечное, монотонное падение в белизну.

На мальчике была та же одежда, что и днём: флисовая кофта, больничные пижамные штаны, которые ему выдали при поступлении. Но теперь эта одежда казалась чужой, неуместной, как костюм на манекене. Тимофей стоял, выпрямив спину, опустив руки по швам, и его лицо в полумраке коридора выглядело ещё более бледным, ещё более отстранённым. Губы больше не шевелились. Глаза больше не светились. Но он был здесь — не в постели, не в палате, а на пороге, словно что-то вывело его из состояния оцепенения и заставило встать. Словно что-то позвало его.

— Тимофей, — выдохнула Анна, и голос её прозвучал сдавленно, почти жалобно. — Ты должен быть в постели. Тебе нельзя вставать.

Он не отреагировал. Его взгляд оставался прикованным к окну, к снегу, к чему-то, что находилось за снегом — или внутри него. Анна подошла к нему, стараясь двигаться плавно, без резких движений, как подходят к испуганному животному. Но Тимофей не был испуган. Он вообще не проявлял никаких эмоций. Он просто стоял и смотрел, и его глаза — серо-голубые, с ледяной каймой — отражали падающий снег, как два крошечных заснеженных пруда.

Она взяла его за плечи. Ткань кофты была холодной — не прохладной, а именно холодной, словно её только что вынули из морозильной камеры. Анна осторожно, но настойчиво развернула мальчика и повела обратно в палату. Он не сопротивлялся. Он вообще никак не реагировал — просто позволил вести себя, как ведут куклу на шарнирах. Его ступни бесшумно ступали по ледяному линолеуму, не оставляя следов — или, может быть, Анна просто не видела их в тусклом свете.

Она довела его до кровати, усадила, подняла его ноги — лёгкие, как пустые оболочки, — и укрыла одеялом. Тимофей лёг на спину, вытянув руки вдоль тела, и его глаза усталились в потолок. Ни слова. Ни вдоха. Ни малейшего признака того, что он осознаёт происходящее. Анна поправила подушку, подоткнула одеяло, проверила, не дует ли от окна (смешной, бесполезный жест — в этой палате дуло не от окна, а от самой реальности), и уже собиралась выйти, когда что-то заставило её обернуться.

Окно.

Иней на стекле, который ещё минуту назад представлял собой хаотичный набор детских отпечатков, изменился. Анна замерла на полпути к двери, не в силах отвести взгляд. Ледяные линии, из которых состояли отпечатки, пришли в движение. Они не таяли — температура в палате была для этого слишком низкой, — а именно двигались, перестраивались, словно живые. Серебристые нити скользили по стеклу, сливались друг с другом, расходились, закручивались. И из этого движения, из этого безмолвного, завораживающего танца рождалась новая форма.

Спираль.

Она начиналась в центре окна — там, где только что был её собственный отпечаток, — и раскручивалась вовне, расширяясь, захватывая всё новые и новые участки стекла. Витки спирали были идеально ровными, математически точными, словно их прочертил невидимый циркуль, и каждый новый виток был чуть шире предыдущего. Спираль напоминала раковину наутилуса, или галактику, видимую с ребра, или водоворот в тёмной воде — но она была не статичной. Она вращалась.

Медленно, очень медленно, против часовой стрелки.

Анна смотрела на это вращение, и у неё закружилась голова. Ей казалось, что она падает — не вперёд, не назад, а куда-то вглубь, в самую сердцевину спирали, туда, где линии сходились в одну точку, в одну крошечную, сияющую белую точку. И эта точка была отверстием. Окном внутри окна. Проходом. И оттуда, из этого прохода, тянуло таким холодом, какого Анна никогда не знала — холодом, который был древнее Земли, древнее Солнца, древнее всего сущего. Холодом, который существовал до начала времён и будет существовать после их конца.

Она моргнула — и наваждение исчезло. Спираль на стекле всё ещё вращалась, но теперь это было просто движение инея, просто оптическая иллюзия, просто игра света и холода. Никакого прохода. Никакой бездны. Только стекло, только зима, только снег за окном. Анна попятилась к двери, не сводя глаз с окна. Спираль продолжала вращаться, и в её движении было что-то гипнотическое, затягивающее, словно она хотела, чтобы Анна осталась. Смотрела. Ждала. Но Анна не могла больше оставаться здесь. Она вышла в коридор, закрыла дверь и привалилась к ней спиной, чувствуя, как колотится сердце, как дрожат колени, как ледяной узор на её ладони пульсирует в такт вращению спирали — медленно, ритмично, против часовой стрелки.

Она не знала, что означает этот символ. Но она уже где-то видела его — не в больнице, не в городе, а раньше, много раньше. Может быть, во сне. Может быть, в том провале памяти, который зиял на месте целого года её детства. Спираль. Знак Морока. Знак Вечного Холода. И теперь, глядя на свою ладонь, на которой серебристые линии медленно, почти незаметно меняли очертания, складываясь в подобие той же спирали, Анна поняла: метка поставлена. Она теперь часть этого. Часть узора. Часть ожидания.

И где-то в глубине больницы, под полом, под землёй, под толщей льда и времени, Морок ждал своего часа. Сороковая жертва ещё не была названа. Но спираль уже вращалась, отсчитывая последние дни. Последние часы. Последние минуты до зимнего солнцестояния. До Ночи Великого Мороза. До того момента, когда пазл сложится и ледяное тело восстанет из глубин озера Инеж.

Анна прижала ладонь к груди и закрыла глаза. Завтра. Завтра она спустится в подвал. Завтра она найдёт ответы. А сейчас ей оставалось только одно: ждать рассвета и надеяться, что он наступит раньше, чем спираль завершит свой оборот.

Глава 5. Сороковая строка



Утро наступило незаметно — не рассветом, не первыми лучами солнца, а просто постепенным разжижением тьмы, которая и не думала уходить полностью. Небо за окнами больницы оставалось всё тем же белёсым, непроницаемым, и снег, падавший всю ночь, теперь лежал на подоконниках, на карнизах, на ветвях старых тополей толстым, ватным слоем, приглушавшим все звуки. Белореченск казался городом, погружённым на дно ледяного океана, и даже время

здесь текло иначе — медленнее, гуще, словно каждая минута преодолевала сопротивление толщи воды.

Анна почти не спала. После того, что она видела в палате Тимофея — шёпот из стены, ледяные отпечатки на стекле, спираль, вращающуюся против часовой стрелки, — сон не шёл к ней. Она провела остаток ночи на посту медсестры, закутавшись в два одеяла, но дрожь не унималась, а стоило ей закрыть глаза, как перед внутренним взором снова вставала спираль — белая, мерцающая, затягивающая. И ладонь, её правая ладонь, на которой серебристые линии инея, казалось, пульсировали в такт этому вращению, напоминая о себе тупой, ноющей болью.

Когда часы на стене показали восемь, Анна заставила себя встать, умыться ледяной водой из-под крана (горячая так и не пошла, хотя отопление вроде бы работало) и переодеться в чистый халат. Сегодня ей предстояло сделать то, что она откладывала со дня приезда. То, о чём предупреждала её Зоя. То, что страшило её больше, чем ночные голоса и ледяные узоры. Сегодня ей предстояло спуститься в подвал.

Канцелярия больницы располагалась на первом этаже, в дальнем конце коридора, примыкавшего к вестибюлю. Это была маленькая, тёмная комната без окон, освещённая всё той же вездесущей лампой дневного света, которая здесь, в замкнутом пространстве без естественного освещения, казалась особенно болезненной. Стены от пола до потолка были уставлены металлическими стеллажами, на которых громоздились папки, скоросшиватели, подшивки старых газет и журналов, пыльные коробки с надписями «Отчёты 1998», «Бухгалтерия 2003», «Акты на списание». В воздухе стоял запах старой бумаги, пыли и чего-то сладковатого, похожего на запах увядающих цветов или, может быть, тления.

За столом, заваленным бумагами до такой степени, что видна была лишь маленькая площадка для письма, сидела женщина. Вернее, то, что когда-то было женщиной — теперь это было иссохшее, сморщенное существо неопределённого возраста, с седыми волосами, стянутыми в тощий пучок на затылке, и с глазами, которые смотрели на мир из-за толстых линз очков, как две замёрзшие лужицы. Табличка на столе сообщала: «Архивариус Клавдия Степановна Горемыкина». Анна постучала по притолоке и вошла.

— Доброе утро, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно и по-деловому. — Мне нужны журналы регистрации пациентов за последние пять лет. И сводки происшествий, если такие ведутся. Я составляю эпидемиологическую карту района, и мне нужны данные по сезонной заболеваемости.

Клавдия Степановна подняла голову и посмотрела на Анну долгим, изучающим взглядом. В этом взгляде не было ни приветливости, ни враждебности — только какая-то древняя, усталая подозрительность, свойственная людям, которые слишком долго работают с документами и слишком редко видят посетителей.

— Эпидемиологическую карту? — переспросила она скрипучим, простуженным голосом. — Это кто ж вас надоумил? Главврач ничего не говорил ни о какой карте.

— Я новый педиатр, — терпеливо объяснила Анна. — Анна Сергеевна Северова. Приехала по распределению. Эпидемиологическая карта — стандартное требование для вновь прибывшего специалиста. Мне нужно ознакомиться с историей заболеваемости в районе, чтобы понимать, с чем я могу столкнуться.

Архивариус поджала губы. Её пальцы — тонкие, скрюченные артритом, с пожелтевшими ногтями — забарабанили по столу, отбивая неровный, раздражающий ритм. Она, казалось, обдумывала слова Анны, взвешивала их, проверяла на невидимых весах, и что-то в этом процессе явно шло не так.

— За пять лет, говорите? — сказала она наконец. — Ну, за пять так за пять. Только предупреждаю сразу: многие записи отсутствуют.

— Как это — отсутствуют? — Анна нахмурилась.

— А вот так. — Архивариус развела руками, и её сухие ладони мелькнули в воздухе, как два осенних листа. — Порча бумаги. Сырость, знаете ли. Подвал затопливает каждую весну, а прошлой осенью талые воды пошли, так вообще по колено стояло. Многие документы испорчены безвозвратно. Комиссия приезжала, акты составляли, да толку-то...

Она говорила всё это быстро, скороговоркой, словно заученный текст, и глаза её при этом бегали — от стола к стеллажам, от стеллажей к двери, — нигде не задерживаясь. Анна заметила, что на слове «испорчены» голос архивариуса дрогнул, и в этом дрожании было что-то фальшивое. Так дрожит голос человека, который лжёт — не грубо, не нагло, а с той особенной, скользкой интонацией, которую приобретает ложь, повторённая много раз.

— Я всё равно хочу их посмотреть, — твёрдо сказала Анна. — Даже те, что испорчены. Может быть, что-то ещё можно разобрать.

— Ну, как знаете. — Архивариус пожала плечами и тяжело, с кряхтением, поднялась из-за стола. — Сидите пока здесь. Я схожу в архив, принесу что уцелело.

Она вышла, шаркая стоптанными тапочками по линолеуму, и Анна осталась одна в канцелярии. Она обвела взглядом комнату: стеллажи, бумаги, пыль, паутина в углах, старая лампа, гудящая под потолком. На стене, над столом архивариуса, висел отрывной календарь, застывший на вчерашнем числе. Рядом — фотография в рамке: какая-то пожилая пара на фоне елового леса, оба в тяжёлых зимних пальто, оба смотрят в объектив с одинаковым выражением настороженности. Анна заметила, что у женщины на снимке глаза были светлыми — слишком светлыми, почти прозрачными, как у детей на её собственной фотографии. Она отогнала эту мысль.

Прошло минут десять, прежде чем архивариус вернулась. В руках она несла стопку пыльных фолиантов — толстых журналов в картонных переплётах, с потрёпанными корешками и пожелтевшими страницами. Она с грохотом опустила их на стол, и облако пыли поднялось в воздух, заставив Анну закашляться.

— Вот, — сказала Клавдия Степановна, отряхивая руки. — Журналы регистрации за последние пять лет. То, что уцелело. Сводки происшествий — отдельно, я их позже поищу. Только, — она замялась, и её лицо на мгновение стало серьёзным, почти испуганным, — вы бы, Анна Сергеевна, не копались во всём этом. Мало ли что там можно найти. Мало ли что люди пишут. Иногда лучше не знать.

— Что вы имеете в виду? — спросила Анна, но архивариус уже отвернулась, делая вид, что роется в бумагах на столе.

— Ничего я не имею в виду, — пробормотала она. — Просто работа у меня такая: бумаги сортировать. А бумаги, они, знаете ли, всякие бывают. Иные и сжечь не грех. Иные — лучше бы и вовсе не писали.

Она замолчала, и Анна поняла, что больше ничего не добьётся. Она взяла стопку журналов, поблагодарила архивариуса и вышла в коридор. Сердце колотилось где-то у горла, а руки, сжимавшие пыльные фолианты, слегка дрожали. Она чувствовала себя так, словно только что пересекла невидимую границу, за которой начиналась территория без карт и указателей, территория, где правила игры были неизвестны, а ставки неизмеримо высоки.

Поднимаясь по лестнице в педиатрическое отделение, Анна перебирала в уме слова архивариуса. «Многие записи отсутствуют». «Порча бумаги». «Сырость». Всё это звучало как правда — но какая-то неполная правда, вывернутая наизнанку. Она вспомнила, как Зоя говорила о тридцати девяти случаях, о детях, которые пропадали и возвращались. Если эти случаи были зафиксированы в журналах, значит, должны быть записи. Но если записи отсутствуют — кто-то позаботился о том, чтобы они отсутствовали. Кто-то, у кого были ключи от архива. Кто-то, кто знал о сырости в подвале больше, чем говорил. Кто-то, кто не хотел, чтобы правда вышла на свет.

В ординаторской Анна закрыла дверь на щеколду — не потому, что боялась, что кто-то войдёт, а потому, что хотела отгородиться от внешнего мира, создать себе иллюзию безопасности, хотя и знала, что никакая щеколда не защитит от того, что уже проникло в этот город, в эту больницу, в её собственную кровь. Она опустилась на колени прямо на пол — холодный линолеум обжёг кожу даже сквозь плотные колготки, — и разложила перед собой журналы. Пять толстых фолиантов в картонных переплётках, с потёртыми корешками и пожелтевшими от времени страницами. Они пахли пылью, сыростью и чем-то ещё — сладковатым, тленным, как запах старых цветов, забытых в вазе много лет назад.

Она начала с журнала регистрации приёмного покоя за позапрошлый год. Страницы были заполнены убогим, медсестринским почерком — фамилии, даты, диагнозы, номера палат. Анна пролистывала их, выхватывая глазами ключевые слова: «гипотермия», «переохлаждение», «найден в лесу», «контакт затруднён», «реакция на раздражители отсутствует». Каждое такое слово она выписывала в блокнот — отдельной строкой, с указанием даты, имени, возраста. Работа была кропотливой, монотонной, но она приносила странное успокоение: методичное, механическое действие, которое позволяло ей сосредоточиться на фактах, а не на страхе.

Через час перед ней уже лежал список из тринадцати имён за один только этот год. Тринадцать детей в возрасте от шести до двенадцати лет, поступивших в больницу с симптомами, которые Анна теперь мысленно называла «синдромом Тимофея»: гипотермия, анальгезия, отсутствие контакта, чистые одежда и обувь, никаких следов обморожения или истощения. Против каждого имени стояли две даты: дата пропажи и дата возвращения. Анна перечитала их и заметила то, что ускользнуло от неё при беглом просмотре: интервалы.

Она взяла карандаш и поставила рядом с каждой записью количество дней, проведённых ребёнком «в лесу» — или где бы они ни находились на самом деле. Семь дней. Девять дней. Двенадцать. Четырнадцать. Шесть. Восемь. Никакой системы. Интервалы не повторялись, не подчинялись видимой закономерности. Но когда Анна переписала все данные на отдельный лист и расположила их в хронологическом порядке, она увидела кое-что другое. Даты пропаж всегда приходились на период с ноября по январь. Ни одного случая весной, летом или ранней осенью. Все дети исчезали с наступлением холодов. И возвращались тоже зимой. Словно зима была не просто временем года, а сезоном охоты — тем периодом, когда Морок выходил на промысел.

Она отложила первый журнал и взялась за следующий — за прошлый год. Здесь записей было меньше, но картина повторялась с пугающей точностью. Десять случаев. Все — дети от семи до одиннадцати лет. Все — пропавшие зимой. Все — найденные с одними и теми же симптомами. И ни одного упоминания о полиции. Это поразило её сразу, но она не позволила себе отвлечься — сначала нужно было закончить с цифрами.

К обеду она разобрала все пять журналов. На полу ординаторской, вокруг неё, лежали десятки исписанных листов бумаги, а в блокноте красовалась аккуратная, хоть и написанная дрожащей рукой, таблица. Тридцать девять имён. Тридцать девять детей. Анна пересчитала их дважды, чтобы убедиться, что не ошиблась. То самое число, которое называла Зоя. И ещё одно, сороковое, которое пока не было вписано в журнал, но которое Анна уже знала наизусть: Коля Ильин, девять лет, сын Зои.

Она откинулась на спину, опершись на вытянутые руки, и посмотрела на разбросанные по полу бумаги. Тридцать девять историй. Тридцать девять трагедий. Тридцать девять детей, чьи жизни были украдены — не смертью, нет, чем-то худшим, чем смерть. И ни в одной из этих историй не было слова «похищение». Анна села прямо и снова взяла в руки журнал за позапрошлый год. Теперь она читала не даты и не диагнозы — она читала формулировки. «Заблудился в лесу». «Ушёл из дома после ссоры с родителями». «Временно отсутствовал по семейным обстоятельствам». «Выезжал с отцом в соседний район». «Гостил у родственников».

Каждая запись была аккуратной, обстоятельной, подписанной дежурным врачом и заверенной печатью приёмного покоя. И каждая была ложью. Анна знала это с той же абсолютной, ледяной уверенностью, с какой знала, что её отражение в зеркале над каминной полкой выглядит на десять лет старше.

Она перелистывала страницы, ища хоть одно упоминание о полицейском протоколе, о заявлении родителей, о розыскных мероприятиях. Ничего. Ни единого слова о том, что ребёнок был объявлен в розыск. Словно дети не пропадали вовсе. Словно они просто выходили из дома на несколько дней — заблудиться в лесу, погостить у родственников, — а потом возвращались сами собой. Но они не возвращались сами. Их находили — лесники, охотники, случайные прохожие. Находили на пнях, на берегу озера, на старом ледозаводе — сидящими с открытыми глазами, без следов насилия, без признаков истощения, в неестественно чистой одежде. И никто не задавал вопросов. Никто не вызывал полицию. Никто не бил тревогу.

Анна захлопнула журнал и уставилась на обложку. На ней, выведенный чернилами, значился год — позапрошлый. Тот самый год, когда, по словам Зои, пропал первый ребёнок. Саша Кравченко, восемь лет. Анна нашла его имя в списке. «Временно отсутствовал по семейным обстоятельствам» — гласила запись. Она перечитала её трижды, и с каждым разом буквы казались ей всё более чуждыми, всё более зловещими. Кто писал эти записи? Кто диктовал эти формулировки? Кто решал, что ребёнок, пропавший на две недели в зимнем лесу, «гостил у родственников»? Это не могло быть случайностью. Это не могло быть халатностью. Это была система. Хорошо отлаженная, работающая как часы система, которая охватывала не только больницу, но и полицию, и, возможно, администрацию города. Система, целью которой было скрыть. Замолчать. Похоронить правду под слоем канцелярских формулировок и поддельных подписей.

Анна вспомнила капитана Горового. Его равнодушное, ничего не выражающее лицо. Его холодные, отстранённые глаза, в которых она тогда не заметила ничего, кроме обычного полицейского цинизма. Но теперь она знала — или догадывалась, — что скрывалось за этим равнодушием. Горовой был частью системы. Частью культа. Одним из тех, кто служил Мороку и следил за тем, чтобы правда никогда не вышла наружу.

Она закрыла глаза и прижала ладони к лицу. Правая ладонь всё ещё болела, и серебристые линии инея на ней, казалось, пульсировали в такт биению сердца. Анна сидела на полу ординаторской, окружённая бумагами, как потерпевший кораблекрушение — обломками корабля, и думала о том, что знание, которое она только что получила, не даёт ей ответов. Оно даёт лишь новые вопросы. Вопросы, ответы на которые лежали где-то в подвале, в архиве, среди старых рентгеновских снимков и историй болезни. Там, куда она обещала себе спуститься. Там, куда она спустится — завтра. Или сегодня. Или прямо сейчас.

Она открыла глаза и посмотрела на блокнот. Тридцать девять имён. Тридцать девять лживых записей. И одна пустая графа — сороковая, — ожидающая своего часа. Анна взяла карандаш и медленно, очень медленно вписала в эту графу имя, которое не значилось ни в одном журнале, но которое она знала наизусть. Коля Ильин. Девять лет. Ещё не пропавший. Ещё не найденный. Ещё живой — по-настоящему живой, с тёплой кожей и бьющимся в нормальном ритме сердцем. Но уже обречённый. Уже вписанный в какой-то иной, нечеловеческий реестр, который не требовал ни подписей, ни печатей, ни канцелярских формулировок.

За окном, в сером небе Белореченска, продолжал падать снег. Он заметал следы — те, что были оставлены на земле, и те, что были спрятаны в пыльных журналах. Но Анна больше не собиралась позволять снегу заметать правду. Она отложила блокнот и потянулась к следующей стопке бумаг — к амбулаторным картам, которые ей неохотно выдала архивариус. Теперь, когда все тридцать девять имён были выписаны и разложены в хронологическом порядке, она искала не даты — она искала связи.

Она открыла первую карту — на имя Бойко Елены, двенадцати лет. Девочка исчезла в ноябре прошлого года и была найдена через восемь дней на берегу озера Инеж. Анна пробежала глазами по записям: рост, вес, прививки, перенесённые заболевания. Ничего необычного. Обычная история болезни обычного ребёнка. Затем она дошла до страницы с записями о плановых осмотрах — тех самых, которые каждый ребёнок в этом городе проходил раз в год перед началом учебного года. И замерла.

За месяц до исчезновения Елена Бойко проходила плановый осмотр. Запись была стандартной: измерение роста и веса, проверка зрения, общий анализ крови. Но внизу страницы, в графе «Врач», стояла подпись — размашистая, с характерным завитком на букве «Х». Анна прочитала фамилию: Холодов. И ниже, в скобках: «педиатр».

Она нахмурилась. Имя показалось ей смутно знакомым, но она не могла вспомнить, где его слышала. Она отложила карту Бойко и взяла следующую — Герасимовой Валентины, девяти лет. Та же картина. Плановый осмотр за месяц до исчезновения. Та же подпись: Холодов. Анна почувствовала, как холод, дремавший в её груди, снова зашевелился. Она открыла третью карту, четвёртую, пятую. Везде, в каждой из тридцати девяти карт, за месяц до того, как ребёнок пропадал, стояла одна и та же подпись.

Холодов. Холодов. Холодов.

Анна отбросила карандаш и встала. Ей нужно было двигаться, чтобы переварить это открытие. Она подошла к окну, прижалась лбом к холодному стеклу и попыталась собраться с мыслями. Один и тот же врач. Один и тот же педиатр осматривал каждого из пропавших детей за месяц до их исчезновения. Это не могло быть совпадением. Это не могло быть случайностью. Это было звеном цепи — тем самым звеном, которого ей не хватало, чтобы связать разрозненные факты в единую картину.

Она вернулась к бумагам и просмотрела карты ещё раз, теперь обращая внимание на даты осмотров. Все они были датированы осенью или ранней зимой — октябрём, ноябрём, декабрём. Но год на некоторых картах стоял разный. Анна пересчитала: первые осмотры относились к тому периоду, когда Холодов ещё работал в больнице. Потом, примерно четыре года назад, его подпись исчезла из карт, а затем — появилась снова. Уже после его официального увольнения.

Она отложила карты и задумалась. Краем уха она слышала о докторе Холодове от Зои — та упоминала его вскользь, когда говорила о старом роддоме. Но тогда Анна не придавала этому значения. Теперь же имя всплыло из глубин памяти, как тело утопленника всплывает на поверхность тёмной воды. Холодов. Бывший педиатр. Бывший акушер. Тот, кто работал в роддоме, где родились все эти дети. Тот, кто принимал роды у их матерей. Тот, кто осматривал их за месяц до того, как они исчезали.

Она снова взяла красный карандаш — тот самый, которым обводила имена в списке, — и начала обводить подписи в картах. Одно за другим, тридцать девять раз, пока все они не покрылись алыми кругами, похожими на капли крови на снегу. Затем она подвела черту и внизу, под списком, крупными буквами написала: «ХОЛОДОВ. Плановый осмотр за месяц до пропажи. Подпись везде. Уволился 4 года назад, но продолжал осматривать детей».

Она перечитала написанное, и её охватило странное, почти оцепенелое спокойствие. Так бывает, когда долго боишься неизвестности, а потом неизвестность обретает имя и лицо. Холодов. Теперь у неё была зацепка. Где он сейчас? Почему уволился? И почему его подпись продолжает появляться в картах пациентов, хотя он уже четыре года не числится в штате? Кто пускает его в больницу? Кто разрешает ему осматривать детей?

Теперь, когда связь с Холодовым была установлена, Анна вернулась к датам. Она выпишала их на отдельный лист — тридцать девять строчек, тридцать девять дат, — и принялась перечитывать по порядку, водя пальцем по бумаге. И вдруг остановилась. Что-то было не так. Вернее, что-то было так — слишком так, чтобы быть случайностью.

Она принялась лихорадочно переписывать даты на новый лист, но теперь — группируя их по годам. Первый год: одна пропажа. Второй: две. Третий: пять. Четвёртый: двенадцать. Пятый... пятый ещё не закончился, но в нём уже значилось девятнадцать имён, и до конца года оставалось больше месяца. Анна смотрела на эти цифры, и в висках у неё стучало. Количество жертв росло. Не просто росло — оно нарастало с каждым годом, как снежный ком, как лавина, как воронка, затягивающая в себя всё больше и больше детей. Она выписала годы и рядом проставила числа: 1, 2, 5, 12, 19. Это была прогрессия. Не строгая математическая последовательность, но тенденция, пугающая своей неумолимостью. Если так пойдёт дальше, в следующем году пропадёт тридцать детей. Или сорок. Или все.

Анна оторвалась от листа и посмотрела на даты, что выписала раньше. Она перечитала их снова, и вдруг её внимание привлекла одна деталь, которую она раньше упускала. Все даты — все до единой — приходились на один и тот же период. Поздняя осень, зима. Ноябрь, декабрь, январь. И ни одной — в феврале, марте, апреле. словно с наступлением тепла охота прекращалась.

Она взяла календарь за прошлый год, найденный в ящике стола, и начала отмечать на нём даты пропаж. Первая — двадцать второе декабря. Вторая — двадцать четвёртое декабря. Третья — двадцать восьмое декабря. Четвёртая — первое января. Пятая — шестое января. Анна провела на календаре жирную черту, соединяя точки, и отшатнулась. Все пропажи укладывались в промежуток между двадцать первым декабря и девятнадцатым января. Между днём зимнего солнцестояния и Крещением.

Древние праздники. Языческие и христианские. Время, когда, по поверьям, граница между мирами истончается, и в щели между явью и навью просачивается то, чему не место среди живых. Анна не была суеверной — или, по крайней мере, считала себя таковой до приезда в Белореченск. Но теперь, глядя на календарь, на аккуратные крестики, которыми она отметила даты, она не могла отрицать очевидного. Тот, кто похищал детей — Морок, или его слуги, или сам Холодов, — действовал не хаотично. Он следовал календарю. Древнему, тёмному календарю, который был старше христианства, старше самого города, старше, возможно, самой человеческой памяти.

Анна перевернула страницу на текущий год. Сегодня было пятнадцатое ноября. До зимнего солнцестояния оставалось чуть больше месяца. Тридцать шесть дней. И в этом году уже пропало девятнадцать детей — больше, чем за весь прошлый год. Но цикл ещё не был закрыт. Анна знала это так же твёрдо, как знала, что её ладонь пульсирует холодом в такт вращению спирали. Цикл закроется, когда пропадёт сороковой ребёнок. И этим ребёнком будет Коля Ильин — если она не остановит это. Если она не найдёт способ разорвать цепь.

Она отодвинула календарь и снова склонилась над списком дат. Теперь она искала не закономерности — она искала начало. Самый первый случай. Тот, с которого всё началось. Саша Кравченко, восемь лет, пропал двадцать второго декабря. Первый год. Первая жертва. Анна нахмурилась. Что-то было связано с этим годом, что-то, о чём она уже слышала. Она достала из кармана халата блокнот, пролиставла его до записей, сделанных во время разговора с Зоей. И нашла.

«Роддом №2 закрыт. Тогда же, когда пропал первый ребёнок. Год в год».

Анна подняла глаза. Связь, которую она искала, наконец-то проступила — не полностью, не во всех деталях, но достаточно ясно, чтобы понять: роддом был не просто местом, где рождались будущие жертвы. Роддом был местом, где начался ритуал. Или местом, где он был прерван — и теперь, год за годом, Морок собирал свою дань, навёрстывая упущенное.

Она выписала на отдельный лист крупными буквами: «РОДДОМ №2 — ЗАКРЫТ. ПЕРВАЯ ПРОПАЖА — РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД. СОЛНЦЕСТОЯНИЕ — КРЕЩЕНИЕ. КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ РАСТЁТ. ДО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ — 36 ДНЕЙ». Последнюю строчку она обвела красным карандашом и жирно подчеркнула. Тридцать шесть дней. Тысяча часов.

Шестьдесят тысяч минут. И каждая из этих минут уносила её всё дальше от надежды и всё ближе к тому моменту, когда спираль завершит свой оборот.

Анна отложила карандаш и посмотрела на свою правую ладонь. Серебристые линии на ней, казалось, стали ярче. Или это просто свет лампы падал под другим углом? Она сжала пальцы в кулак, чувствуя, как холод просачивается сквозь кожу, сквозь мышцы, сквозь кости. Эта метка — не просто шрам. Это напоминание. Это предупреждение. Это часть того же ритуала, часть того же календаря, часть того же холода, который поднимался из глубин озера Инеж.

Она встала, потянувшись, чувствуя, как хрустят позвонки, и подошла к окну. За стеклом, в сгущающихся сумерках, по-прежнему падал снег — такой же белый, такой же безмолвный, как и вчера, и позавчера, и во все те дни, когда дети исчезали из своих постелей. Где-то там, в городе, живёт человек по имени Холодов. Бывший педиатр. Бывший акушер. Нынешний Смотритель. И он ждёт. Ждёт зимнего солнцестояния. Ждёт сороковую жертву. Ждёт, когда его хозяин, Морок, восстанет из глубин и получит своё ледяное тело.

Она отвернулась от окна и аккуратно собрала разбросанные по полу листы — журналы, амбулаторные карты, исписанные страницы блокнота, — сложила их в стопку на краю стола. Движения её были механическими, лишёнными спешки; она делала всё тщательно, методично, словно наведение порядка в бумагах могло хоть как-то упорядочить хаос, творившийся в душе. Затем потянувшись за картонной папкой с тесёмками, которую держала в ящике для особо важных документов, и раскрыла её. Вложила внутрь свои записи — блокнот с таблицей, лист с датами, лист с анализом прогрессии, — и уже собиралась закрыть, когда взгляд упал на список имён.

Тот самый список. Тридцать девять фамилий, аккуратно выписанных столбиком на листе в клетку. Каждое имя было обведено красным, и эти алые круги, неровные, дрожащие, казались теперь не просто пометками — они напоминали раны. Или венки. Или петли. Список был неполным. Он обрывался на тридцать девятом имени, и ниже, под последней строчкой, зияла пустота — белое пространство нетронутой бумаги, которое словно чего-то ждало. Ждало сороковую строку.

Анна почувствовала, как волосы на затылке зашевелились. Это было не просто ощущение. Это было знание — то самое, что приходит не через разум, а через какую-то иную, более древнюю часть сознания. Список ждал. Пустое место внизу листа не было случайным. Оно было оставлено намеренно — не Анной, нет, но кем-то или чем-то, что направляло её руку, когда она выписывала эти имена. Тридцать девять жертв уже были принесены. Тридцать девять детей уже стали частью Морока. И теперь список требовал завершения. Сороковое имя. Последнее имя. Имя, которое замкнёт круг.

Анна взяла красный карандаш. Пальцы дрожали, и грифель выводил на бумаге неровную, прерывистую линию, когда она дописывала внизу, под тридцать девятой строкой, номер сорок. Две цифры — четыре и ноль, — жирные, красные, кричащие. Затем она поставила знак вопроса — большой, занимающий почти всю ширину листа, — и обвела его. Линия получилась замкнутой, и этот круг, этот вопросительный знак внутри красного кольца, вдруг показался ей похожим на спираль. На ту самую спираль, что вращалась на оконном стекле в палате Тимофея. На ту, что проступила на её собственной ладони.

Она отложила карандаш и замерла.

В комнате стало холоднее.

Это произошло не постепенно — температура упала резко, рывком, словно кто-то распахнул невидимую дверь в морозильную камеру. Воздух, только что бывший просто прохладным, стал ледяным, и Анна увидела, как из её рта вырывается пар — густой, белый, клубящийся. Лампа под потолком замигала, загудела натужно, и на мгновение в ординаторской воцарился полумрак, а затем свет вернулся, но уже какой-то блёклый, словно и его коснулся холод.

Анна медленно, очень медленно повернула голову к окну. На стекле, с внутренней стороны, снова проступал узор. Тонкие серебристые линии, сначала едва заметные, потом всё более яркие, выползали из углов рамы и тянулись к центру, закручиваясь, сплетаясь, образуя спираль — ту самую, знакомую уже спираль, которая вращалась против часовой стрелки. Она была больше, чем в прошлый раз, — теперь она занимала почти всё стекло, и её витки казались глубже, а центр — темнее. Или это просто сумерки за окном сгустились?

Анна прижала правую ладонь к груди. Под тканью халата, под бинтом, который она наложила утром, серебристые линии на коже пульсировали — она чувствовала их холод каждой клеточкой, каждым нервным окончанием. И ритм этой пульсации совпадал с ритмом вращения спирали на стекле. Медленно. Неотвратно. Против часовой стрелки.

Она опустила взгляд на список. Сороковая строка смотрела на неё — красный круг, внутри которого темнел вопросительный знак. Пустое место было заполнено, но не именем. Пока не именем. Знак вопроса означал неизвестность — или, может быть, выбор. Может быть, этот лист, этот список был не просто записью уже случившегося. Может быть, он был пророчеством. Или инструкцией. Или приглашением.

Анна закрыла папку и завязала тесёмки. Холод в комнате стал почти невыносимым, и её пальцы одеревенели, отказываясь слушаться, но она справилась — затянула узел, прижала папку к груди и встала из-за стола. Спираль на окне продолжала вращаться, но теперь Анна не смотрела на неё. Она смотрела на календарь, висевший на стене, где до зимнего солнцестояния оставалось тридцать шесть дней. Тридцать шесть дней до того, как кто-то — она или Морок, или сама судьба — впишет в сороковую строку имя. И она знала, что это имя уже выбрано. Знала, но не могла принять.

Она вышла из ординаторской, оставив дверь открытой, и холодный воздух из комнаты потянулся за ней в коридор, как шлейф невидимого плаща. Где-то в глубине больницы, в палате номер шесть, Тимофей Леденцов сидел на кровати и смотрел в окно, за которым падал снег. И его губы беззвучно шевелились, повторяя одно и то же слово — то самое, что Анна слышала прошлой ночью. «Сорок». «Сорок». «Сорок». И спираль на стекле вращалась в такт этому шёпоту, отсчитывая последние дни, последние часы, последние минуты до завершения ритуала. До рождения Морока. До конца всего.

Глава 6. Сороковой ключ



Обед в Белореченской центральной районной больнице наступал ровно в полдень — не потому, что таков был распорядок, а потому, что ровно в полдень столовая открывала свои двери и наполнялась паром от щей, гулом голосов и звоном алюминиевых ложек. В это время коридоры пустели, и даже самые бдительные санитарки покидали свои посты, чтобы занять очередь к раздаточному окну. Анна знала это. Она специально выбрала полдень.

Она стояла у двери канцелярии, прижавшись спиной к холодной стене, и ждала. Сквозь щель в дверном проёме ей было видно, как Клавдия Степановна, кряхтя и потирая поясницу, поднялась из-за стола, накинула на плечи серую пуховую шаль и, шаркая стоптанными тапочками, вышла в коридор. Старуха двигалась медленно, но Анна всё равно выждала ещё пять минут — на случай, если архивариус что-то забыла и решит вернуться. Но коридор оставался пустым, и тишина в нём нарушалась лишь далёким стуком посуды из столовой да монотонным гудением люминесцентных ламп.

Анна выскользнула из своего укрытия. В одной руке она держала карманный фонарик — тот самый, которым пользовалась прошлой ночью, — в другой, перекинутой через плечо, висела холщовая сумка с блокнотом, карандашом и пустой папкой для документов. Она не знала точно, что ей понадобится в архиве, но предпочитала быть готовой ко всему. Сердце колотилось где-то у горла, и каждый шаг по пустому коридору отдавался в висках глухим, размеренным стуком. Она не имела права здесь находиться. Формально архив был закрыт для посетителей, а доступ к старым документам требовал письменного разрешения главврача. Но Анна больше не доверяла формальностям. Она доверяла только себе. И ещё — может быть — Зое. Но Зоя сейчас была где-то в другом крыле больницы, и Анна не могла ждать.

Дверь в подвал находилась в конце коридора первого этажа, за поворотом, рядом с пожарным щитом и стендом с инструкцией по гражданской обороне. Это была тяжёлая, обитая железом дверь с массивной ручкой и табличкой «Посторонним вход воспрещён». Анна нажала на ручку — дверь не поддавалась. Заперто. Она выругалась про себя, и звук её шёпота эхом разнёсся по пустому коридору. Затем она вспомнила слова Зои — та как-то обмолвилась, что ключ от подвала висит в канцелярии, на доске у входа. Анна вернулась, стараясь ступать бесшумно, и действительно нашла ключ — большой, ржавый, с биркой «Подвал. Архив». Он висел на гвозде, словно ждал её.

С ключом в руке она снова подошла к двери, вставила его в скважину и повернула. Механизм заскрежетал — звук был таким громким, что Анна на мгновение замерла, ожидая, что сейчас из-за поворота появится кто-нибудь и потребует объяснений. Но никто не появился. Она налегла на дверь плечом, и та открылась — нехотя, с протяжным, жалобным скрипом, словно не хотела впускать её внутрь.

За дверью начиналась лестница. Старая, бетонная, с выщербленными ступенями и металлическими перилами, покрытыми ржавчиной, которая шелушилась под пальцами, как сухая кожа. Лампочка под потолком не горела — то ли перегорела, то ли была выключена за ненадобностью. Анна включила фонарик, и узкий луч света запрыгал по стенам, выхватывая из темноты фрагменты штукатурки, тени труб и паутины, свисавшую с потолка рваными, пыльными полотнищами.

Она сделала первый шаг. Подошва её туфель скользнула по бетону, и звук шагов разнёсся по лестничному колодцу глухим, многократно усиленным эхом. Второй шаг. Третий. С каждым шагом воздух становился холоднее и плотнее, а запах сырости — всё более навязчивым. К запаху пыли и старой бумаги теперь примешивалось что-то ещё — что-то органическое, похожее на запах погреба, где слишком долго хранили овощи, или на запах земли, только что вынутой из могилы. Анна поёжилась и поплотнее запахнула халат. Стужа здесь была другой — не такой, как наверху. Если там она была голодной, агрессивной, то здесь, в подвале, она стала терпеливой, выжидающей, как зверь, который знает, что добыча никуда не денется.

Она спускалась всё глубже. Лестница уходила далеко вниз — гораздо дальше, чем можно было предположить, глядя на одноэтажное здание больницы с улицы. Казалось, что она ведёт не просто в подвал, а в недра самой земли, туда, где заканчиваются человеческие постройки и начинается что-то иное — древнее, тёмное, не имеющее названия. Анна насчитала уже двадцать ступеней, двадцать пять, тридцать. С каждым шагом свет из открытой двери наверху

становился всё тусклее, пока не превратился в крошечный, далёкий прямоугольник желтого света где-то высоко над головой.

На двадцать восьмой ступени она остановилась.

Луч фонаря выхватил из темноты стену слева от лестницы. Штукатурка на ней была старой, покрытой трещинами и пятнами плесени, но сквозь эти пятна, сквозь плесень и грязь проступало нечто иное. Узоры. Спиральные узоры, процарапанные в штукатурке чем-то острым. Анна поднесла фонарь ближе, и луч заскользил по стене, обнажая детали. Завитки были не ледяными — не теми, что она видела на окне в палате Тимофея, — а грубыми, механическими, вырезанными в твёрдом материале. Они имели разные размеры. Некоторые — большие, размашистые, начерченные сильной, уверенной рукой взрослого человека. Другие — маленькие, неровные, расположенные ниже, там, куда мог дотянуться только ребёнок.

Анна опустила руку, водя фонарём по стене. Вихревые знаки покрывали её сплошным ковром, уходя в темноту за пределы досягаемости луча. Некоторые были глубокими, словно их процарапывали много раз по одному и тому же контуру. Другие — едва заметными, как будто тот, кто их оставлял, торопился или был слишком слаб, чтобы нажимать сильнее. Но все они сохраняли одну форму: спираль, закрученная против часовой стрелки. Та самая, что преследовала её с первого дня в Белореченске. Знак Морока. Знак Вечного Холода.

Она протянула руку и коснулась одного из углублений — того, что находилось на уровне её плеча. Штукатурка под пальцами была холодной и грубой, а края бороздок — острыми, как будто их прорезали ножом или осколком стекла. Анна провела пальцем по спирали от центра к краю, следуя её вращению, и ей вдруг показалось, что она слышит звук — тихий, едва различимый скрежет, словно где-то в глубине стены кто-то продолжал царапать штукатурку. Она отдернула руку. Звук исчез.

Она выпрямилась и посветила фонарём дальше. Резные знаки были повсюду — на стенах, на потолке, даже на ступенях под ногами. Они перекрывали друг друга, сплетались, образовывали сложные многослойные узоры, похожие на карту какого-то безумного лабиринта. И все они располагались на разной высоте — от самого пола до потолка, — словно их оставляли люди разного роста. Взрослые. Подростки. Дети. Много детей. Анна вспомнила отпечатки детских ладоней на окне палаты Тимофея и поёжилась. Те, кто оставлял эти спирали, были здесь. В этом подвале. Возможно, они и сейчас здесь — в том или ином виде.

Она заставила себя идти дальше. Лестница закончилась на сороковой ступени. Анна не сразу поняла это, но когда луч фонаря выхватил из темноты массивную металлическую дверь внизу, она машинально пересчитала ступени в обратном порядке и вздрогнула. Сорок. Это число преследовало её, как наваждение, как дурной сон, от которого нельзя проснуться.

Дверь внизу была приоткрыта — не настежь, но достаточно, чтобы в неё мог протиснуться человек. Анна подошла ближе и увидела, что замок на ней сорван, а сама дверь покрыта теми же спиральными узорами, что и стены, только здесь они были ещё более густыми, ещё более хаотичными. Она толкнула преграду, и та подалась — медленно, с протяжным стоном, открывая проход в темноту. Из темноты пахло ледяным дыханием и запахом старой бумаги. Анна шагнула внутрь. Луч фонаря разрезал мрак, выхватывая из него очертания стеллажей, заставленных папками и коробками. Архив. Она нашла его.

Архив встретил её запахом — густым, многослойным, почти осязаемым. Пахло старой бумагой, разлагающейся от сырости; пахло плесенью, расплзавшейся по картонным корешкам; пахло типографской краской, выцветшей и побуревшей от времени. Но под всеми этими запахами, перекрывая их, струился ещё один — холодный, острый, похожий на запах озона после грозы или на тот особенный, металлический привкус, который появляется во рту, когда долго стоишь на морозе. Анна знала этот запах. Это был запах инея — того самого инея, что покрывал кости Тимофея и батареи в палатах, что проступал на оконных стёклах спиралями, что пульсировал на её собственной ладони.

Луч фонаря разрезал темноту, выхватывая из неё фрагменты подземного лабиринта. Архив был огромен — гораздо больше, чем она предполагала. Стеллажи уходили вдаль ровными, параллельными рядами, как книжные полки в заброшенной библиотеке, и каждый стеллаж был заставлен папками, коробками, подшивками. Некоторые были аккуратно подписаны: «Отчёты 1985–1990», «Рентген-кабинет. Журнал регистрации», «Педиатрия. Истории болезни». Другие — безымянные, покрытые таким толстым слоем пыли, что надписи на них невозможно было разобрать. Воздух был неподвижен, и каждый шаг Анны поднимал в нём облака пыли, которые медленно, лениво оседали обратно, словно взвесь в толще воды.

Она шла вдоль стеллажей, водя фонарём по корешкам папок. Педиатрия. Терапия. Хирургия. Рентгенология. Вот оно. Секция с рентгеновскими снимками занимала несколько стеллажей в дальнем конце архива — туда, куда, судя по нетронутomu слою пыли на полу, давно не ступала нога человека. Анна пробиралась между рядами, чувствуя, как мороз усиливается с каждым шагом. Здесь, в глубине подвала, он был не просто температурой — он был присутствием. Чем-то, что наблюдало за ней из темноты и ждало.

Она миновала стеллажи с рентгеновскими снимками — большие, тяжёлые конверты из плотной бумаги, сложенные стопками по годам, — и оказалась в самом дальнем отсеке, отгороженном от остального архива массивным металлическим стеллажом. Здесь было темнее всего, и луч её фонаря, казалось, не столько освещал пространство, сколько тонул в нём, поглощённый густым, почти осязаемым мраком. И здесь, в этом дальнем углу, стоял шкаф.

Он был стальным, серым, с двумя распашными дверцами, выкрашенными облупившейся молотковой эмалью. Верхний левый угол венчала ржавая табличка с инвентарным номером, давно нечитаемым. Шкаф выглядел старым, но крепким — не чета окружающим его картонным коробкам. И он был заперт. На ручках дверцы висел висячий замок — массивный, латунный, с длинной дужкой. Анна опустила на корточки перед шкафом и протянула руку. Пальцы коснулись холодного металла, и она вдруг поняла то, что заставило её замереть: замок был не заперт. Дужка не была защёлкнута. Она просто висела на ручке — накинута для видимости, но не выполняющая своей функции. Кто-то был здесь до неё. Кто-то открывал этот шкаф. И этот кто-то не потрудился запереть его снова — то ли торопился, то ли не боялся, что сюда кто-то зайдёт.

Она осторожно сняла замок с ручки и отложила его в сторону. Металл звякнул о бетонный пол, и звук этот разнёсся по архиву глухим, многократно усиленным эхом. Анна замерла, прислушиваясь. Тишина. Только гул водопроводных труб где-то в глубине здания да стук её собственного сердца. Она взялась за ручку и потянула дверцу на себя. Петли заскрипели — пронзительно, жалобно, — и шкаф открылся.

Внутри было пусто. Почти пусто. Три металлические полки, высланные пожелтевшей газетой, и на средней полке — одна-единственная картонная папка. Она лежала там, как экспонат в музее, как святыня в алтаре, как улика, специально оставленная для того, кто придёт после. Анна протянула руку и взяла её. Папка была холодной на ощупь и удивительно тяжёлой для своего размера — словно бумага, из которой она состояла, впитала в себя что-то помимо чернил. На обложке, прямо по центру, было написано от руки. Буквы были крупными, неровными, выведенными с нажимом, процарапавшим картон почти насквозь. Анна поднесла фонарь ближе и прочитала: «Инеевая структура. Не вскрывать без санкции главврача».

Она стояла в темноте подвального архива, держа в руках папку, и не могла заставить себя открыть её. Не потому, что боялась гнева главврача или нарушения инструкций. А потому, что эти слова — «инеевая структура» — были первым официальным подтверждением того, о чём она до сих пор лишь догадывалась. Кто-то в этой больнице знал об инее. Кто-то изучал его. Кто-то дал ему название — холодное, клиническое, почти безличное, но от этого не менее страшное. И этот кто-то запретил вскрывать папку без своего разрешения.

Анна села прямо на бетонный пол, скрестив ноги, и положила папку перед собой. Её пальцы дрожали — от холода ли, от страха ли, — когда она развязывала тесёмки. Она больше не сомневалась. Ответы, которые она искала, были здесь. В этой папке. В этом шкафу. В этом подвале. И она собиралась получить их, чего бы это ни стоило.

Картонный переплёт, размягчённый годами подвальной сырости, подался с тихим, влажным звуком — так размыкаются губы утопленника, когда вода наконец выпускает свою добычу. Луч фонаря, зажатого в левой руке, упал на верхний лист, и в его свете Анна увидела то, что и ожидала увидеть — и вместе с тем то, чего до последнего мгновения боялась.

Медицинские карты. Тридцать девять амбулаторных карт — не копии, не выписки, а оригиналы, — аккуратно сложенные в хронологическом порядке. Каждая была вложена в прозрачный пластиковый файл, и к каждой канцелярской скрепкой был приколот рентгеновский снимок. Анна вытащила верхнюю карту. На обложке знакомым медсестринским почерком было выведено: «Кравченко Александр, 8 лет». Тот самый первый мальчик, тот самый первый случай, та самая первая жертва, с которой всё началось. Анна открыла карту и пробежала глазами по записям — температура тела, пульс, реакция зрачков, отсутствие контакта. Все те же симптомы, что у Тимофея. Все те же вопросы без ответов.

Затем она взялась за рентгеновский снимок.

Он был холодным на ощупь — холоднее, чем можно было ожидать от куска плёнки, пролежавшего в архиве несколько лет. Анна поднесла его к фонарю, и свет, проходя сквозь тёмные участки эмульсии, заставил снимок засиять изнутри мертвенным, голубовато-серым свечением. Это был рентген кистей рук — стандартная проекция, которую назначают при подозрении на переломы или дисплазию. Кости запястья, пястные кости, фаланги пальцев — все они были видны с той же чёткостью, с какой видны кости на любом рентгеновском снимке. Но было кое-что ещё.

Вокруг каждой кости, повторяя её контуры с пугающей, почти художественной точностью, шла тонкая кайма. Она была светлой — светлее костной ткани, светлее мягких тканей, светлее фона, — и по плотности напоминала не органический материал, а что-то минеральное. Лёд. Хрусталь. Алмаз. Кайма была неравномерной: где-то — тоньше человеческого волоса, где-то — толще, с утолщениями на суставах и в местах прикрепления сухожилий. Она обволакивала кости, как вторая кожа, как кокон, как саван, и от неё, даже сквозь холодную плёнку снимка, веяло тем самым голодным холодом, который Анна научилась узнавать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.